ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

Дороти Карузо

Энрико Карузо
Его жизнь и смерть

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуары, оставленные вдовой великого тенора Дороти Карузо. Не слишком сведущая в проблемах музыкального искусства, Дороти Карузо сумела добавить к психологическому портрету своего великого мужа массу обаятельных и человечных штрихов и деталей. Самые ценные страницы этих мемуаров — письма Карузо домой. Это часть книги «Энрико Карузо на сцене и в жизни (сборник)» мздательства Аграф

-
- Предисловие
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10

Посвящаю памяти матери
Энрико, которую он так любил.
Д. Карузо

Дороти Карузо
ЭНРИКО КАРУЗО
ЕГО ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

DOROTHY CARUSO
HIS LIFE AND DEATH
Second Edition LONDON NEW YORK
1947

Предисловие

Я не передаю излагаемые события в хронологической последовательности и для начала книги выбрала такой момент, который помог увидеть все, что произошло раньше и позже него. Эта книга — рассказ о двух жизнях, слившихся в одну. Значительную часть ее составляют письма Энрико. Я поместила их так, как они были написаны: с грамматическими ошибками, их трогательной искренностью, чувством юмора, печалью и мудростью. Местами они странно напоминают мне библейский текст.

Когда я стала женой Энрико, мне исполнилось двадцать пять лет, а когда он умер, - двадцать восемь. Пока я писала книгу, мне вновь было двадцать пять и я еще раз пережила нашу замечательную, но трагическую жизнь.

* * *

Дороти Парк Бенджамен Карузо провела большую часть своей жизни во Франции и Италии. Во время первых лет Второй мировой войны она жила но Франции, где помогала сотням обездоленных семей в приморских Альпах. В Нью-Йорк она вернулась в 1942 году. Ее дед, Парк Бенджамен, был владельцем газет и вместе с Хорасом Грили редактировал популярное издание «Нью-йоркер». Он был другом Эдгара Аллана По, Генри Лонгфелло, Оливера Венделла Холмса. Ее отец, также Парк Бенджамен, не только писал научные статьи и был редактором журнала «Американский ученый», но одновременно был известным юристом, специалистом по патентному праву. Ранние годы Дороти Карузо прошли в частных школах Нью-Йорка. Тринадцатилетней девочкой ее отдали в монастырь. В 1917 году она впервые встретилась с Карузо и сразу же, как и он, почувствовала, что они поженятся. Через несколько месяцев они тайно обвенчались. Спустя два года родилась их дочь Глория. Они жили очень счастливо до самой смерти Карузо в 1921 году.

Глава 1

Жарким августовским днем мы ехали из Флоренции в Геную. Остановились только раз — в тени причудливого дома, украшенного бледными фресками, и съели арбуз. Энрико, родившийся в Неаполе и любивший итальянское лето, не страдал от зноя и выглядел совершенно свежим. Он улыбался, глядя на мое раскрасневшееся лицо, и успокаивал меня, говоря, что ещё до захода солнца мы будем дышать прохладным морским воздухом. Повозка, в которой мы сидели, была старой и сильно скрипела, но она оказалась единственным транспортом, который нам удалось найти, чтобы доехать до Генуи. Мы отплывали в Америку на следующий день, так как не могли больше жить в нашей тосканской вилле.

Лето 1919 года в Италии выдалось беспокойное, хотя почти год прошел с того времени, как кончилась война. После ряда бунтов, вызванных голодом, весь народ выступил против власти и начались те волнения, которые через два года привели к походу на Рим[1]. Беспорядки охватили даже наш маленький городок Синья, находящийся в сорока милях от Флоренции, который до войны славился особым трудолюбием жителей. Муж чины всегда допоздна работали на виноградниках, выращивая гроздья для приготовления знаменитого вина «Кьянти». Женщин и девушек нельзя было увидеть без пучка соломы в одной руке и ленты в другой: они делали известные во всем мире изящные итальянские соломенные шляпки.

И вот теперь шестьсот разъяренных крестьян, голодных и злых, сломали железные ворота, ворвались в наш дом и потребовали хлеб, вино и оливковое масло, хранившиеся в кладовых. Энрико принял их вожака и попросил его предъявить документ на обыск. «Мэр — это мы», — услышал он ответ. Энрико не стал спорить, а лишь попросил оставить нам одну повозку и пищу на десять дней, по прошествии которых мы должны были отплыть в Америку. Крестьяне собирались забрать и нашу домашнюю птицу, но Энрико рассказал им о моей белой паве, которая сидела на двенадцати яйцах и должна была вывести птенцов в тот день. «Синьора такая же крестьянка, как и мы», засмеялись они и даже не подошли к птичнику. Погрузив масло, вино и зерно на телеги, они уехали. Все эти продукты были проданы за бесценок голодающим.

Позднее мы получили небольшой мешочек с медными монетами (стоимость наших продуктов) и с запиской со словами благодарности и сожаления о случившемся.

Зная выдержку и находчивость Энрико, я не особенно боялась того, что происходило. Двумя неделями раньше я уже имена возможность убедиться в его хладнокровии.

Среди ночи наши свирепые псы, охранявшие виллу, начали выть, подобно волкам. Через десять минут мою кровать сильно качнуло. Я включила свет и увидела, что стены покосились. Энрико крикнул мне:

— Дора, встань у косяка двери. Там стена прочнее. Это землетрясение!

Мы молча стояли и слушали, как в доме с шумом падают вещи. Потом он добавил:

— Потолок и пол могут обрушиться, но дверной пролет останется цел. Может быть, хочешь выйти в сад?

Я представила, как разверзается земля, и ответила, что предпочитаю остаться в доме. Присутствие Энрико придавало мне сил. Мы отлично понимали друг друга без слов. Без них даже лучше. После землетрясения прошел сильный ливень. Во Флоренции оказались разрушены целые кварталы домов, а наша вилла осталась целой, если не считать покосившихся окон и дверей. На следующее утро мы обнаружили, что земля в саду вокруг кипарисов усеяна трупами птиц, убитых градом.

Мы провели в Синье такое беспокойное лето, что я совершенно не жалела о нашем отъезде, хотя мне нравилась вилла «Беллосгуардо». Она была построена в пятнадцатом столетии на гребне холма посреди парка с прудом, садов в английском стиле, статуй и длинных кипарисовых аллей. Аллеи вели к беседкам, откуда открывались виды Тосканы. Из одной беседки была видна Флоренция и река, протекавшая в нескольких милях, и это был лучший пейзаж, который я когда-либо видела. Поместье было так велико, что у нас не существовало близких соседей и внешний мир давал о себе знать лишь монотонным звоном монастырского колокола, находившегося в пяти милях от нас. Энрико оплачивал все издержки по поместью и, кроме того, отдавал арендаторам половину урожая за их труд. Уезжая из Синьи, он оставлял виллу на попечении Мартино, своего старого слуги, который служил ему в течение двадцати двух лет, а недавно был назначен мажордомом. Ничто в жизни не имело значения для Мартино, кроме счастья и благополучия его господина.

Все лето Энрико учил «Еврейку»[2] и много новых песен. Его аккомпаниатор приезжал из Флоренции каждое утро, и они работали по три часа. Энрико развлекался в свободное время тем, что сооружал панораму, изображавшую сцену Рождества Христова, для чего купил за несколько лет перед тем на Па

рижской выставке пятьсот или шестьсот фигурок. Они были сделаны более двухсот лет назад и одеты в платья, сшитые фрейлинами Неаполитанской королевы еще в то время, когда существовали Неаполитанское и два Сицилийских королевства. Для занятий Энрико построили в комнате около часовни площадку длиной в двадцать футов, возвышавшуюся над уровнем пола на два фута.

Я не могла долго находиться в этой комнате — мне становилось дурно, так как он прилаживал фигурки рыбьим клеем и, хотя окна и двери были настежь открыты, запах был очень силен. Я часто чувствовала себя одинокой, хотя никогда не оставалась одна. Включая нас, в доме жили двадцать два человека Меньшую часть из них составляли гости, а большую — родственники. Сначала я не могла самостоятельно общаться с ними, потому что не говорила по-итальянски, а они — по-английски. С нами жили два сына Энрико, Фофо и Мимми, а также гувернантка Мимми мисс Сайер, которая обожала своего воспитанника, но настолько боялась Энрико, что не осмеливалась говорить с ним иначе, чем шепотом.

Я сразу же узнала брата Энрико — Джованни, потому что тот был карикатурной копией Энрико. Но в характерах у них не было ничего общего. Энрико был открытым и добрым, а Джованни — злым и лицемерным. Он недолюбливал меня, но скрывал свои чувства в присутствии Энрико. Донна Мария, их мачеха, была очень религиозной женщиной семидесяти пяти лет с прекрасными седыми волосами. Она говорила только на своем родном диалекте, так что даже Энрико с трудом понимал ее, Она преклонялась перед Энрико, никому не доверяла и терпеть не могла Джованни. Однажды, когда они с Джованни сильно поссорились, последний в ярости сорвал с головы свою соломенную шляпу и разорвал ее.

Старшему сыну Энрико — Фофо — было двадцать три года. Он служил в армии. Это был хилый невысокий блондин, носивший военную форму, но всегда готовый неожиданно расплакаться за обеденным столом. Мимми был крупным четырнадцатилетним мальчиком, одетым в белый матросский китель и ни на шаг не отходившим от своей гувернантки. Ноги его довольно сильно заросли волосами, голос уже ломался и появились усы. Он был живым ребенком, но ему не разрешали играть с другими детьми. Большую часть детства он провел в Англии с мисс Сайер. Гувернантка все еще надевала ему чулки и ботинки, а Энрико объяснял это тем, что хочет видеть своего сына опрятным. Я понимала, что Мимми слишком долго находился на попечении гувернантки, и предложила взять его в Америку, чтобы

поместить в один из пансионов. Сначала Энрико отказывался, но когда я убедила его в том, что мальчик не будет испытывать никаких неудобств, он согласился, и больше мы не разговаривали об этом. Энрико никогда не сомневался в принятом решении. Он ждал результата.

В католической Италии родившийся вне брака ребенок считался законным, если отец публично признавал его. Вопрос о статусе детей Энрико и их матери, жившей в Южной Америке, никогда не беспокоил меня. Самым убедительным доказательством этого, в моем понимании, стала просьба Энрико вскоре после нашей свадьбы пойти в банк и послать его бывшей жене ежемесячно выделяемую им сумму денег. Я никогда не стремилась выяснить степень родства всех живших с нами в Синье, да в этом и не было необходимости, так как Энрико являлся главой семьи. Я не спрашивала Энрико и об отношениях с членами семьи, потому что избегала ненужных вопросов. Все мы собирались во время еды в большом и красивом зале. Родственники съедали горы спагетти и несколько кастрюль трески. Мы с Энрико пили из маленьких чашек чистый бульон и ели мясо цыплят. Как правило, я сидела радом с мужем. Когда нас приглашали куда-нибудь, он всегда просил хозяйку посадить нас вместе.

— Иначе, — обычно говорил он, — мы не сможем прийти. Видите ли, дома я сижу рядом с Дорой; я женился на ней, чтобы быть возле нее.

Марио — второй слуга Энрико — прислуживал за столом только нам, другие слуги — родне. Это было странно и приятно.

Мне нравился Марио. Семнадцать лет назад он был носильщиком на железнодорожной станции. Энрико пришлось по душе, как тот переносил его багаж. С того времени Марио сопровождал Энрико в поездках по всему миру.

В начале лета Марио рассказал мне, что уже в течение девяти лет обручен с девушкой по имени Брунетта, но Signor commendatore[3] не разрешает ему жениться. Он просил меня поговорить с Энрико «...ведь Signor commendatore очень счастлив со своей женой». Когда я сказала об этом Энрико, он нахмурился.

— Нет, — ответил он, — никто не может служить сразу двум господам. Жена моего слуги будет править в доме, а у меня не будет слуги.

Я вновь обратилась к нему по этому поводу после крестьянского бунта, и на этот раз он согласился.

— Марио может уехать на три дня раньше нас, если хочет жениться. Мы встретимся с ним на корабле. Но я не хочу ни видеть, ни слышать его жену. В Америке она будет поручена тебе.

Повернувшись к бюро, он добавил:

— И помни — чтобы не было детей.

Экипаж спускался к порту по лабиринту крутых мощеных улиц Генуи, а потом мы ехали по пристани, заполненной ящиками спагетти и бочками с оливковым маслом. Марио ждал нас и открыл дверцу.

— Спасибо, синьора, — прошептал он, — Брунетта у меня в каюте.

«Данте» был непритязательным небольшим пароходом, но в нашем распоряжении находились салон капитана и участок палубы. Во время путешествия я не видела никого, кроме Энрико, моей служанки Энрикетты, Марио и Мимми. Сидя с утра до вечера на палубе, я старалась привести в порядок свои впечатления и мысли — ведь в моей жизни за короткий период произошло так много событий.

Год назад после выхода из монастыря Святого Сердца («Sacred Heart») я еще жила в отцовском доме. До этого времени (мне было семнадцать лет) я не знала по-настоящему отца. Он был вдовцом с тремя детьми, когда женился на моей матери, и ему исполнилось сорок пять лет, когда родился их первый ребенок, мой брат. Через шестнадцать месяцев появилась я. Не припомню, чтобы будучи ребенком видела кого-либо из родителей кроме как за завтраком или вечером, когда говорила им «спокойной ночи». Свои ранние годы я провела в детской вместе с братом и няней, которая очень любила нас и нянчилась с нами, пока мы не пошли в школу. Тогда я узнала, что отец окончил в 1867 году Морскую Академию Соединенных Штатов и служил под командованием адмирала Фаррагута во время Гражданской войны, после чего вышел в отставку. В двадцать восемь лет он был редактором «Сайентифик Американ», а через несколько лет начал изучать право. В момент моего рождения он уже был известным юристом, авторитетным в вопросах, касающихся военно-морского флота и патентного права, автором серьезных книг по электротехнике и хорошим портретистом-любителем.

В первые годы совместной жизни мои родители устраивали обеды для друзей, среди которых было много крупных ученых и изобретателей. Хотя я в то время была очень мала, но запомнила несколько известных имен: адмирала Дьюи, адмирала Фиске, адмирала Сибэри, выдающегося ученого Стейнмеца и профессора Майкла Пюпина - известного физика и изобретателя, родившегося в одном из сербских хуторков.

Он воссоздал в крупном масштабе этот хуторок в Норфолке и штате Коннектикут. Как-то летом отец снял дом по соседству с

ним. Профессор любил детей, и я часами гуляла с ним по полям, слушая рассказы о его родине. Его любимым занятием было разведение рогатого скота, и однажды, когда мы стояли у изгороди, наблюдая за стадом, он сказал:

— Посмотри на этих животных и запомни, что величайшие ученые мира не могут объяснить, как трава превращается в молоко.

Этой же ночью я сочинила для него стихи:

«Удивительна гусеница, что превращает листья в шелк,
Но еще удивительнее корова, превращающая в молоко траву,
Ни один профессор не может взять в толк,
Как это происходит и почему».

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, здоровье матери резко ухудшилось и врачи рекомендовали ей жить в сельской местности, вдали от всех нас. Моего брата отдали в пансион, а меня в монастырь. После четырехлетнего пребывания в монастыре меня взяли оттуда для того, чтобы я помогала отцу, который после замужества моих сводных сестер остался один. Годы беспокойства о здоровье матери и забот о пятерых детях настолько сказались на нем, что не осталось ничего от того общительного, веселого и восторженного человека, о котором часто вспоминала в письмах сестра.

После беззаботной и тихой жизни в монастыре я попала в дом, где обстановка оказалась весьма напряженной. Мне было очень трудно поддерживать своими неопытными руками твердо установленный в доме порядок, особенно в условиях, когда и сама нисколько не могла интересовать человека таких знаний и способностей, каким был мой отец. Он еще мог бы жить в мире со мной, если бы любил меня. К несчастью, он так и не смог меня полюбить и не скрывал своего недовольства мною. Отец был человеком горячего темперамента и, как я скоро убедилась, необъективным, раздражительным и эгоцентричным. Он тиранил меня, и я его очень боялась. Презирая обыкновенных людей, он не разрешал никому из моих приятелей приходить в наш дом. Со своими друзьями он встречался лишь в университетском клубе, но никогда не приглашал их домой. Когда вечерами он возвращался со службы и звенел ключами у дверей, мое сердце начинало взволнованно биться. Войдя, он кричал:

— Бифштекс к обеду! — и если вместо бифштекса ему подавалось что-нибудь другое, то, поднимаясь по лестнице, он вопил, что я умышленно стараюсь уморить его голодом. Он считал меня виновной во всех проступках прислуги, язвительно разглядывал меня, когда мы сидели за обеденным столом, и саркастически насмехался надо мной, если я бывала не здорова.

Так как ему не было никакого дела до меня, он позволял мне иметь более чем скромный гардероб и на все мои просьбы отвечал так нелюбезно, что я никогда ничего не просила у него, кроме самого необходимого.

Каждый вечер мне приходилось сидеть с ним в библиотеке Я была слишком напугана, чтобы говорить с ним, а с другой стороны, не должна была молчать, чтобы не вызвать новою взрыва ярости. Через год он оказался уже не в состоянии выносить одинокого присутствия моей дрожащей особы и пригласил переехать к нам мисс Б. — гувернантку моей кузины.

Мисс Б. была тридцатилетней итальянкой с неплохим голосом. Хотя отец говорил, что она должна стать моей компаньонкой, я скоро поняла, что в ее задачу входило развлекать отца. Он все больше привязывался к ней. Так как они любили музыку, а я, по мнению отца, ее не любила, он часто бывал с мисс Б. на концертах и в опере. Я слышала только одну оперу — «Лоэнгрин» - и не была ни на одном концерте. У меня не было денег, чтобы купить билет, а отец отказывал в моих робких просьбах Однажды вечером он в течение двух часов восхищенно рас сказывал о спектакле «Кармен» в «Метрополитен». На следующий день я взяла у него в кабинете серебряную фигурку, изображавшую ветряную мельницу, и, продав ее за доллар, купила билет на стоячее место на ближайший дневной спектакль «Кармен», где впервые увидела Карузо. Но я была так напугана своим поступком, что не смогла получить должного впечатления.

Мисс Б. развлекала отца, умиротворяла его и даже иногда спорила с ним. Он любил ее, и она его не боялась. Постепенно она заинтересовала его Италией, своей семьей и друзьями, пригласила кое-кого из них на обед, и отец довольно мило разговаривал с ними. Никто не обращал на меня никакого внимания, хотя я сидела на месте матери, и я чувствовала себя очень глупо, понимая, что никому не нужна.

Мы уже жили так в течение шести лет, когда однажды мисс Б. сказала:

— Я собираюсь пойти на крестины. Мои друзья просили меня достать где-нибудь ложки. Вы не одолжите мне свои?

— Конечно одолжу, — ответила я.

У меня хранились двенадцать маленьких ложечек, доставшихся от бабушки, которые составляли мое единственное богатство.

— Отец ребенка — известный вокальный педагог, и Карузо согласился быть крестным отцом, - продолжала она, - вы можете пойти со мной, если хотите.

Я с благодарностью приняла это предложение и стала

размышлять, какое из своих двух платьев надеть — темно-синее саржевое или голубое шелковое. Я остановилась на шелковом и большой красной шляпе.

Когда я пришла, гости еще не вернулись из церкви. Было очень приятно находиться в доме, где пахло свечами и пирогами. Я ждала всех на лестнице. Вокруг шептались специально нанятые для этого случая слуги. Внезапно дверь открылась, и я услышала заразительный смех и итальянскую речь. Вошел человек в длинном пальто с меховым воротником, и я не столько услышала, сколько почувствовала, что рядом зашептали: «Карузо».

Он первым стал подниматься по лестнице, остановился на полпути и посмотрел на меня. Какой-то внутренний голос сказал мне, что я стану его женой. Мисс Б. познакомила нас, представив меня по-итальянски. Карузо ответил на чистом английском языке. Затем она снова обратилась к нему. Я догадалась, что она приглашала его к нам на обед. Карузо подождал, пока она закончит, а потом обратился ко мне:

— Это будет в доме вашего отца?

— Да, мистер Карузо, — еле нашла я силы ответить.

Когда отец узнал, что Карузо будет обедать у нас, он сказал мисс Б.:

— Это очень хорошо. Вы еще, может быть, споете в «Метрополитен».

В день обеда мисс Б. много времени провела на кухне, готовя специальные соусы и неаполитанские кондитерские изделия. Карузо приехал в огромной синей фетровой шляпе и большом плаще, перекинутом через плечо. На нем был синий в крапинку пиджак с вельветовыми отворотами, кремовая шелковая рубашка, белые чулки и черные лакированные туфли. (Это был костюм, в котором он пел в опере Г.Шарпантье «Жюльен». Он объяснил мне потом, что оделся так, чтобы я запомнила его.)

За обедом он в основном говорил по-английски с отцом и, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Через несколько дней он прислал нам три билета на «Аиду» с его участием. Места находились в первом ряду над духовыми инструментами. После этого посещения Карузо стал частым гостем у нас. Мисс Б. и отец только и говорили о музыке. Карузо слушал. Он продолжал присылать нам билеты и всегда над группой ударных. Отцу это не очень нравилось, но он, конечно, ничего не говорил Карузо. Иногда, когда Карузо не пел, он приглашал нас с мисс Б. кататься на машине. Она говорила мне, что он приглашает меня только потому, что у него на родине не принято, чтобы незамужняя женщина оставалась наедине с мужчиной. В машине Карузо сидел между нами и рассказывал

истории из своей жизни. Говорил он всегда по-английски.

Мы уже знали друг друга около трех месяцев, когда однажды (это было в феврале) после возвращения с такой прогулки я собиралась на обед к моим старым друзьям и Карузо предложил подвезти меня. Отец, к моему удивлению, разрешил. Певец помог мне сесть в машину, назвал адрес шоферу и, сев рядом со мной, сказал:

— А когда мы поженимся, Дора?

Отец очень часто говорил:

— Не могу понять, что привлекает Карузо в нашем доме. В мисс Б. он не влюблен, а к тебе относится как к ребенку.

Ему не могло прийти в голову, что тот приходит из-за меня.

В тот день, когда Энрико пришел просить у отца согласие на наш брак, я дрожала от страха. В моей комнате был слышен разговор, который они вели в библиотеке. Я услышала, как, поздоровавшись, Энрико сказал:

— Я пришел просить руки вашей дочери.

Последовала пауза, после которой отец ответил, что согласен. Я думаю, он был слишком удивлен, чтобы сказать «нет».

Отношение ко мне мисс Б. изменилось, когда она узнала о сделанном предложении. Она обвиняла меня в том, что я знала о ее любви к Карузо, и поклялась любыми способами помешать нашей свадьбе.

На лето мы сняли дом в Спринг-Лейке, и Энрико часто

приезжал, чтобы провести с нами уик-энд. Он учил присланные ему рукописные ноты Джорджа М. Кохана «Over There» («В дальний путь»), а я выправляла его произношение.

С того момента, как отец дал согласие на наш брак, он очень тепло принимал Энрико и с нетерпением ожидал его приезда. Поведение мисс Б., когда мы были все вместе, оставалось вежливым, но наедине со мной она повторяла свои угрозы.

Однажды утром в августе я почувствовала перемену в настроении отца. Он получил письмо от своего душеприказчика, в котором сообщалось то, что мы уже знали относительно родни Карузо и его состояния. В нем содержались восторженные похвалы характеру певца и бесконечные поздравления.

— Мне это неприятно. Карузо не должен больше бывать в нашем доме, — сказал отец.

Я была поражена. Не зная, что он имеет в виду, я сразу же написала Энрико письмо, в котором просила его не приезжать, пока я не извещу его. Отец перестал разговаривать со мной и подолгу беседовал с мисс Б. в библиотеке. Через неделю он послал за мной и сказал:

— Я решил, что ты можешь выйти замуж, если Карузо

заплатит полмиллиона долларов наличными.

Я сразу все поняла. Дело было не в деньгах, так как у отца их и мелось достаточно. Очевидно, мисс Б. сказала ему, что, если я выйду замуж, она, боясь за свою репутацию, не сможет больше оставаться в доме. Отец старался найти основания, чтобы взять назад свое согласие на брак. Их план оказался верным.

Я никогда не осмелилась бы просить у Энрико полмиллиона, так как в жизни ни у кого ничего не просила, но даже, если бы я осмелилась сделать это, он был бы так шокирован, что наверняка отказался бы от женитьбы на мне. Это было ужасно.

Я решила встретиться с Энрико в Нью-Йорке, рассказать ему обо всем и положиться целиком на него. Вместе с мисс Б. мы пришли к нему в «Никербокер-Отель». Он выслушал меня и нежно сказал:

— Дора, вы можете ответить своему отцу «нет». У меня нет полмиллиона долларов наличными. У меня есть ценные бумаги, но я не продам их. Я не дал бы денег, даже если б они у меня были. После нашей свадьбы все, что есть у меня, будет вашим. Обдумайте все сегодня ночью и скажите завтра, согласны ли вы стать моей женой.

Мы остались в Нью-Йорке, и рано утром по телефону я сказала Энрико, что готова венчаться хоть сегодня. Мои приготовления к свадьбе были несложными — я только попросила подругу купить мне платье и шляпу. Тёмно-синее с белой оторочкой платье и маленькая шляпка с белыми лентами составляли всё мое приданое. В салоне я застала Энрико, рассматривавшего портрет свой матери. На глазах у него были слезы.

— Как я хотел бы, чтобы она очутилась здесь, — сказал он, она умерла тридцать лет назад.

Мы поженились в унитарной церкви на Мэдисон Авен и» Потом Энрико написал письмо мисс Б., в котором просил отца простить нас, но я так и не знаю, дошло ли оно до отца. Через некоторое время, даже не известив мать и других детей, они удочерил мисс Б., чтобы сделать законным ее пребывание в доме. Я больше никогда не видела их. Он лишил всех нас наследства и после смерти матери завещал все свое состояние мисс Б.

Все это случилось год назад, а теперь я была женой величайшего в мире певца и через несколько месяцев ждала ребенка Когда я сказала об этом Энрико, он просто ответил:

— Мы должны сохранять то, что Бог посылает нам.

Я не думала о ребенке ни во время поездки в Италию, им и течение лета, но сейчас задумалась — впервые происходит что то, случившееся только со мной, а не со мной и Энрико. Всё, что

произошло, казалось сказкой, и невольно приходили на ум обычные окончания сказок: «Они поженились и жили счастливо вместе со своими детьми».

Жизнь с Энрико отличалась от жизни у отца, как небо от земли. Я не сразу привыкла к тому, что в жизни Энрико было вполне естественным. Приученная в доме отца к твердой дисциплине, я невольно ожидала, что Энрико станет также сурово осуждать мои ошибки. Первое событие, которое показало, что это не так, произошло, когда мы были женаты не более двух недель. В один из жарких дней, когда я собиралась принять ванну, меня позвал Энрико. Я поспешила к нему, и он вручил мне позолоченный ларец, содержавший чековую книжку на пять тысяч долларов. Для меня это было настолько необычно, что я только и могла сказать:

— Спасибо, я постараюсь не тратить денег зря, — как ответила отцу, когда он как-то дал мне доллар.

— Ты не должна так поступать, — сказал Энрико, — это тебе на развлечения.

Изумленная, я пошла к себе в комнату. Внезапно я увидели струйку воды, вытекавшую из-под дверей моей ванной.

— Боже мой, ванна, — мелькнуло у меня голове.

Комната превратилась в озеро, а ванная — в Ниагару. Я поспешила закрыть воду и с ужасом смотрела на то, что натворила. Ничего не оставалось делать: следовало сказать Энрико, что по своей глупости я не только испортила ковер, но и залила нижние комнаты, — и все это после того, как он сделал мне такой подарок. Конечно, он возьмет его назад, ужасно рассердится и долго не будет разговаривать со мной. В этот момент Энрико открыл дверь. Он остановился на мгновение, увидев мое горе, затем подошел и поцеловал меня:

— Ничего, Дора. Ковер мы заменим, и все будет хорошо. Только никогда больше не смотри на меня со страхом.

Через неделю начинались концерты Энрико на открытой эстраде в Центральном парке. До парка нас сопровождал эскорт полиции на мотоциклах. Когда я села на место, мэр преподнес мне букет превосходных американских роз, перевязанных красной, белой и голубой лентами. Я подумала: «Как был бы зол отец, если бы видел меня».

В тот же момент голос Энрико и все окружающее показались мне сном. Я снова услышала звук отцовского ключа, открывающего дверь.

После концерта, во время ужина, Энрико спросил меня:

— Дора, что у тебя с руками?

Мои руки были покрыты царапинами.

— Это розы. Я вспомнила отца.

— Ты скоро забудешь все и не будешь никого бояться, — сказал Энрико.

В течение пяти дней мы стояли на Азорских островах, загружаясь углем. В клубах черной пыли на борт парохода карабкались люди, неся за спинами корзины с углем.

— Сойдем на берег, — сказал Энрико, — я найду машину.

Машина оказалась очень старым «Фордом», с облезшей краской, открытым и без рессор. Первым делом мы поехали на почту, где Энрико купил португальские марки для своей коллекции.

Я изумилась, когда услышала, что он бегло разговаривает по-португальски, и спросила, откуда он знает этот язык.

— Я часто пел в Бразилии.

— Но ты ведь не знаешь русского языка, хотя и пел в Петербурге?

— В Бразилии я бывал очень часто.

Каждый день я открывала в нем что-нибудь новое. Проучась в свое время в школе только один год, он говорил на семи языках.

Наконец мы снова поплыли. В один из прекрасных, спокойных дней я лежала в шезлонге, наблюдая за Марио. Он принес на палубу стол, затем стул. Проверил, все ли прочно стоит, и разложил на столе бумагу, линейку, чернила и ручки.

— Как поживает Брунетта? — спросила я.

— Очень страдает от морской болезни.

В это время на палубу вышел улыбающийся Энрико. Он сел за стол и вынул очки. Марио подал ему лист старой бумаги с полустертыми нотами.

— Это прекрасная неаполитанская песня. Она называется «Tu ca nun chiagne» («Ты, которая не плачешь»). Я перепишу ее, - сказал Энрико.

Он принялся за работу. Марио ушел.

— Готово, — сказал Энрико и подал мне листок, на котором очень аккуратно и красиво были написаны ноты.

— Как тебе это удалось? — спросила я.

— Когда мне было восемнадцать или девятнадцать лет, я хотел учиться пению, но у меня не было денег. Днем я работал на мельнице у отца. Это была отличная работа — она немного утомительна, но сделала меня сильным. Денег я, конечно, не получал. И вот, чтобы заработать, я по вечерам садился на тротуар под фонарем и переписывал ноты для тех, кто учился петь. За это я получал несколько лир и мог купить себе ботинки: на уроки приходилось далеко ходить. Когда мы будем в Нью-Йорке, я запишу эту песню. Это будет превосходная пластинка.

Глава 2

В Нью-Йорке нас встречали Дзирато — секретарь Энрико (в настоящее время менеджер Нью-Йоркского филармонического симфонического оркестра) и Фучито — его аккомпаниатор, а также обычная толпа репортеров и поклонников. После тревожных событий в Италии было приятно вернуться в спокойную страну, где живет бодрый и довольный своей судьбой народ, и ехать с преданным шофером Фицджеральдом на удобной маленькой «Ланчии» в «Никербокер-Отель». Наши номера состояли из четырнадцати комнат, были заново отделаны и заполнены цветами. Они помещались на девятом этаже и выходили на 42-ую стрит и Бродвей. Столовая была угловой комнатой. На 42-ую стрит выходили: студия Энрико, его гардеробная и комнаты Мимми, Дзирато и Марио. На Бродвей: наша спальня, салон, комната Энрикетты и две новые комнаты, предназначенные для ребенка.

Марио следил за распаковкой нашего багажа. Он распределил обязанности между всеми: Фучито занялся чемоданом с

нотами, чемоданом с бумагами — Дзирао, Энрикетта — моими вещами, а сам он - багажом Энрико. Энрико всегда путешествовал со своими одеялами, простынями и наволочками, так как любил полотняное белье и где бы ни спал — в поезде, в отеле или на корабле — оно должно было меняться каждый день. У него были специальные подушки и два клиновидных матраца, которые подкладывались под обычные, чтобы при путешествии Энрико случайно не упал с кровати.

Специально сделанный чемодан содержал парфюмерию, пульверизаторы, ингаляторы и всевозможные лекарства, предназначенные для поддержания в порядке горла Энрико. Когда я впервые увидела эту гору багажа, то испугалась. У Марио имелся перечень всего, что находилось в чемоданах, а внутри каждого из них на крышке был наклеен список содержимого. Когда сверка заканчивалась, списки передавались Энрико: все это делалось для того, чтобы избежать потерь и несправедливых обвинений в том, что слуги забыли положить какие-то вещи.

Раз решив что-либо, Энрико никогда не спрашивал советов и не искал ошибок в своем решении. Если его указания не выполнялись или выполнялись слишком медленно, он вскипал:

— У тебя на плечах голова или тыква? — спрашивал он обычно провинившегося, — ты думаешь, я мог бы петь, если бы работал, как ты? Ты полагаешь, что работа будет делаться сама,

пока ты дремлешь или таращишь глаза? Кем я окружен, чурбанами что ли?

Его недовольство выражалось, как правило, возмущенными и безответными вопросами, после чего он поворачивался спиной к виновным и спокойно выходил из комнаты. Он испытывал настоящий гнев только тогда, когда замечал несправедливость. Если кто-нибудь умышленно использовал близость к нему в корыстных целях, стремился повредить его деятельности или поступал недостойно по отношению к нему, он становился холоден и не скрывал презрения.

Он справедливо гневался, когда задевали его актерскую репутацию, а ложь и клевета, касавшиеся его личной жизни, больно обижали его. Он никогда не отвечал на них, поскольку слишком хорошо знал человеческую натуру.

Так как Энрико предстояло петь «Еврейку», все, что бы мы ни делали в те дни, сопровождалось музыкой этой оперы. Фучито приходил в девять часов (мы в это время заканчивали завтрак) и сразу же садился за инструмент. Энрико пил натуральный кофе. Я ела и пила все то же, что и он. Мы жили единой жизнью — подобно двум каплям воды, слившимся в одну.

Каждое утро Марио приносил газеты. Энрико просматривал музыкальную хронику, внимательно изучал карикатуры и читал новости в «Да Фоллиа». В девять часов, облаченный в огромный белый халат, он уходил принимать ванну с вербеной, которую ему готовил Марио. Энрико никогда не пел в ванной. Затем он делал в течение получаса паровые ингаляции, после чего ставил напротив окна зеркало и с помощью ларингоскопического зеркала рассматривал свои связки. Если он находил их покрасневшими, то вливал в гортань специальные растворы. Доктор Хольбрук Кёртис регулярно осматривал его горло, но и сам Энрико очень заботился о своих связках. Тем временем Марио приводил парикмахера. Кресло ставили у окна, а рядом с ним устанавливали пюпитр с клавиром оперы. В то же время Дзира- то с карандашом и блокнотом в руках ждал указаний. Бедный Дзирато! Я часто жалела его. Он искренне любил Энрико и изо всех сил старался угодить ему, но был настолько напуган самим присутствием Карузо, что нередко попадал впросак. Перепутать какие-либо поручения Энрико было еще хуже, чем совсем не исполнить их. Кроме того, Дзирато очень своеобразно вел себя, когда Энрико нервничал. Он старался его успокоить, но делал это так неумело, что только еще больше раздражал. Энрико считал, что тот нарочно злит его, и требовал, чтобы Дзирато вел себя более достойно. Дзирато не был обученным секретарем, но ни один профессионал не смог бы выдержать на его месте и дня.

Ему хорошо платили, но он не имел ни часа свободного времени и, равнодушный к собственным делам, должен был исполнять все, что поручал ему Энрико. Он умел печатать на машинке только двумя пальцами, и лишь невероятная память помогала ему держать в порядке письма, деловые бумаги, коллекции и все остальное. Он любил музыку, а Энрико был его кумиром. Карузо держался по отношению к Дзирато то по-сыновьему, то по-отечески, то беспристрастно, судя по настроению. Но было много случаев, когда Дзирато неправильно истолковывал указания Карузо, и последний не скрывал своего возмущения, которое Дзирато, молча и скорбя, переносил. Он служил буфером между Энрико и публикой и, хотя считал свою работу тяжелой, никогда не жаловался и не протестовал. История знает много примеров, когда выдающиеся люди имели при себе преданных слуг — мастеров на все руки, ведь и у Робинзона Крузо был Пятница. Энрико не мог обходиться без Дзирато.

После ванны Энрико с готовностью брался за дела. Пока его брили, Фучито играл на рояле, а Энрико просматривал клавир, не отбивая ритма и не напевая. Мимоходом он давал указания по поводу ангажементов, писем и телефонных звонков Дзираго, который заносил их в записную книжку, приговаривая: «Si, commendatore». Тем временем Марио ходил на цыпочках по комнате, беззвучно открывая шкафы и выдвигая ящики. Он должен был аккуратно разложить одежду. Каждая вещь имела свое место. Энрико вполголоса напевал, когда одевался, прислушиваясь к звукам музыки, доносившимся из соседней комнаты. Он мог одеваться автоматически, если все предметы находились на своих обычных местах, если же нет, то он прекращал одеваться и требовал привести все в порядок. Он был требователен, но не капризен. Одевшись, он шел в студию, чтобы заняться настоящей работой. Он никогда не пел в полный голос партию, которую разучивал: он насвистывал, мычал, пел какой-нибудь звук, объясняя Фучито, чего он хочет и что требуется от того. Только тогда, когда он был удовлетворен своей трактовкой, он пел в полную силу голоса. Около двух часов интенсивной работы обычно хватало. К этому времени Дзирато подготавливал письма, требующие ответа, фотографии для автографов и чеки на подпись. Энрико так же рьяно выполнял все дела, как и пел. Многие из чеков, которые он подписывал, высылались в ответ на просьбу одолжить денег. Он никогда никому не отказывал. Как-то раз я спросила его:

— Уверен ли ты, что всем этим людям можно доверять?

— Ты права, Дора, но как узнать, кому можно доверять, а кому нет?

Когда нам хотелось прогуляться, мы уезжали далеко по Риверсайд Драйв, затем выходили и шли пешком. Машина медленно следовала за нами. Если вокруг собиралась большая толпа, мы снова садились в машину. Ехали дальше и опять выходили. Иногда мы гуляли по 5-ой Авеню. Энрико нравились магазины с большими стеклянными витринами, но мешали люди, которые буквально осаждали его. Каждый хотел пожать ему руку. По той же причине нам редко доводилось бывать в театрах, модных ресторанах и других людных местах. Он никогда не любил повышенного к себе внимания, считая, что все дело в его легко запоминающейся внешности и любопытстве толпы, а не в особом расположении к нему.

Энрико был добр и отзывчив, но в то же время по-своему неприступен — он мог привязаться к человеку, хотя старался избегать подобных чувств. Вокруг него создавалось нечто вроде вакуума, в котором никого не существовало. Он не любил, когда его рассматривали или когда к нему обращались незнакомые люди. Он хотел свободно ходить по улицам, рассматривать витрины магазинов и покупать одну розу вместо дюжины. Ом часто печально повторял:

— Почему меня не могут оставить в покое? Почему моя жизнь всех интересует?

Он был бессилен против всего этого. Так как успех его деятельности зависел от эмоционального состояния, он нашел способ сохранять внутреннее спокойствие — носил на публике маску: улыбался, смеялся, разыгрывал из себя клоуна. Он снимал эту маску только дома. У него не было близких друзей, хотя каждый день в дом приходила компания итальянцев, претендовавших на право быть его лучшими друзьями и ревновавших его друг к другу. Они приходили поодиночке и ждали в комнате Дзирато, когда к ним выйдет Энрико. Частенько он не хотел их видеть, и они уходили единодушные в своем разочаровании. Они составляли единственное окружение Энрико и были безразличны ему каждый в отдельности, но все вместе окаозывались необходимы. Они завтракали с ним, когда я не могла составить ему компанию, и Энрико развлекался, разговаривая с ними на неаполитанском диалекте. В свою очередь, они грелись в лучах его славы, получали бесплатные билеты в оперу и солидные деньги от торговцев-антикваров. Энрико отлично понимал мотивы их поведения, но скрывал свое мнение под маской веселой расположенности к ним. Они были, в общем, безвредны, распространяя легенды и сказки о шутнике Карузо

Большим другом Энрико являлся баритон Антонио Скотти,

тоже солист «Метрополитен». Он жил в номерах «Никербокер Отеля», расположенных под нашими, и мы всегда тепло принимали его. До нашей женитьбы они с Энрико почти ежедневно завтракали в ресторане отеля и их стол, стоявший в углу, стал знаменитым. Скотти был очень обаятельным, приятным внешне и простым холостяком. Однажды Энрико пришел от него и высыпал мне на колени целую горсть бриллиантовых, сапфировых и изумрудных колец.

— Это подарок тебе.

Когда я стала благодарить его, он жестом показал, что благодарить надо не его. Я возвратила кольца Энрико, просила вернуть их Тото Скотти и передать: хотя мне известно, что его недавнее affaire de coeur (любовное приключение) закончилось, тем не менее я уверена, что он вскоре сможет найти им полезное применение. Ничего не ответив, Энрико направился к Скотти

Энрико был цельной натурой. Казалось, он сотворен из крупных кусков, лежащих в основе его характера. Он был глубоко человечен, предельно честен и обладал невероятным чувством юмора. Он знал вкус и цену простого хлеба. Он был слишком прост, чтобы все могли верить этой простоте. Поэтому публика сочиняла о нем небылицы.

— Ты христианка? — спросил он меня перед свадьбой.

Я ответила утвердительно и добавила, что привержена епископальной церкви.

— Я тоже, — отозвался он.

— А я думала, что ты католик.

Он не представлял толком разницы между христианскими конфессиями — также, как и между политическими партиями. Через шесть месяцев после свадьбы я сказала ему, что хочу принадлежать к одной с ним церкви. Он ответил, что думал, будто мы и так принадлежим к одной. Объяснять ему суть различий было бесполезно, но он согласился обвенчаться снова в церкви

Святого Патрика в Нью-Йорке.

Юмор Энрико не носил утонченного характера. Его непосредственность была столь же искренней, как радость крестьянина на ярмарке. Зимой, когда улицы были покрыты снегом и льдом и дул сильный ветер, он, бывало, стоял у окна, глядя на людей, переходивших Таймс Сквер, и трясся от смеха. Он с удовольствием считал сбитые шляпы и сломанные зонтики и кричал в окно, как будто его могли услышать:

— Осторожно. Здесь скользко!

В цирке он был не зрителем, а действующим лицом. Он становился им уже тогда, когда входил в двери Мэдисон Сквер

Гарден. Как ребенок, он был целиком поглощен происходившим. Он гримасничал вместе с клоунами и высовывался из ложи, чтобы пожать им руки, когда они уходили со сцены. Он невольно обращал на себя всеобщее внимание. Он ходил смотреть на уродцев, как будто навещал своих приятелей. Однажды Энрико спросил трехногого уродца, доволен ли тот таким числом ног.

— До чего же забавно, — рассказывал потом Энрико. — Ему нравится, что он может сидеть и стоять на коленях в одно и то же время.

Затем с гордостью добавил:

— Он тоже неаполитанец, как и я.

Энрико понимал, что разумнее интересоваться собственной жизнью, чем копаться в чужих. О своих современниках он почти не говорил. Он принимал их такими, какими они были, не вдумываясь, что на самом деле они собой представляют. Только когда их пути скрещивались, например на сцене, он замечал их. Он говорил о них постольку, поскольку те имели отношение к его работе. Он никого не хвалил и не критиковал, никогда не выделял одного певца за счет другого. Он был на- столько поглощен своей работой, что у него не оставалось ни времени, ни желания судить о людях или событиях. Он не употреблял свой дар для забавы. В этом отношении он отличался от многих крупных деятелей искусства. Я была свидетельницей того, как Рахманинов, Крейслер и Джон Мак-Кормак часами обращались с музыкой, как дети с игрушками, развлекая себя и других. Я слышала, как Рахманинов пытался петь под невероятно шумный аккомпанемент Джона, а Эрнест Шеллинг играл на рояле, катая по клавиатуре два апельсина. Они обсуждали вопрос «является ли пение творчеством?» Певец говорил «да», пианист «нет», а вежливый скрипач одобрял интересные положения обоих. В эту абстрактную дискуссию Энрико не вступал. Когда к нему обращались, он отвечал «да», или «нет», или «не знаю». Я думаю, он был бы менее меланхоличен, если бы временами относился менее серьезно к своему творчеству.

Энрико избегал общества, но если принимал приглашение, то шел в гости уже довольный, а не предвкушая возможность приятно провести время. Он улыбался слуге, открывавшему двери, лакею, который брал у него пальто и шляпу, и вообще всем. Он не обращался к хозяйке с неуместными льстивыми приветствиями, а просто говорил: «Очень рад». Все, кому это адресовалось, чувствовали себя так, как будто им сказали очень приятный комплимент. Он способствовал поднятию настроения любого общества. У него были приветливые и в то же время нетривиальные манеры. Он не позволял людям поклоняться ему,

и если они сначала разочаровывались, находя вместо бога простого человека, то скоро их разочарование проходило, так как Энрико умел делать людей такими же простыми, каким был сам. Он являлся внимательным слушателем и умелым рассказчиком. Его рассказы были яркими и лишенными вульгарности, а смех - искренним и негромким. Он принимал участие в обсуждениях, но не спорил и избегал слишком горячих и интимных тем. Он придумывал свои обороты в английском языке и не понимал многого, что ему говорили. Американцы говорят быстро и проглатывают целые фразы. Поэтому он часто улавливал только последние слова в предложении. Он не переспрашивал, а лишь повторял их с выражением удивления, сочувствия или восхищения, судя по выражению лица говорящего. Мне часто приходилось слышать такие беседы, и никто не догадывался, в чем, собственно, дело. Он улыбался, уходя, так же радостно, как и в начале визита, и только когда он говорил: «Завтра петь!» — я понимала, что пора удовольствий кончилась и наступила очередь работы.

Энрико заботился не столько о сохранении голоса, сколько

о сбережении жизненных сил, трату которых во время пения он возмещал часами полного молчания, в которых нуждался, как растение в воде. Сила его заключалась в нем самом. Пение не составляло исключения. С детства он пел, как птица, сердцем, в девять лет пел альтом в маленькой приходской церкви; в девятнадцать лет в течение года слушал, как учил молодых певцов маэстро Верджине. Этим годом ограничивалось все его музыкальное обучение.

Все остальное — музыкальность, техника, нюансы, эмоциональность — было добыто им самим. Поэтому он не нуждался ни в чьих советах. Он родился с прекрасным голосом, а его упорство, чутье, мужество и честность сделали его выдающимся певцом. Он отлично понимал, в чем ему надо совершенствоваться; его сознание стало источником его силы и двигателем на пути к совершенству. Внутри гениев всегда горит самоподдерживающийся огонь.

Все, что делал Энрико, было так же замечательно, как и его пение, потому что на любое занятие он тратил все свои жизненные силы. Те, кто не знал этого, считали, что пение заслоняло все остальное. А он отдавался с полной энергией всякой деятельности, будь то пение или склеивание конвертов.

Однажды ему потребовалось несколько больших конвертов для газетных вырезок, а у него был только один. Я предложила послать за ними шофера.

— Нет, — ответил он, — я сделаю их сам. Таким образом я

обучусь еще одному делу.

И действительно, он склеил по имеющемуся образцу отличный конверт. Энрико терпеливо проделал такую операцию одиннадцать раз. Потом он смешал конверты и предложил мне найти среди них тот, который послужил образцом.

Энрико не требовал, чтобы я вела замкнутую жизнь. Сначала я предпочитала ее потому, что такова была его жизнь, а потом начала находить в ней свою прелесть. Энрико не учил меня мудрости — он демонстрировал ее. Он не проповедовал доброту, терпимость, великодушие, справедливость, изобретательность — он просто-напросто сам был их воплощением. Он не получил систематического образования, но поступал так, будто имел его. Все его действия отличались продуманностью, а наша жизнь давала мне время поразмыслить над ними. Потому- то я молча понимала его мысли. Энрико заботился о людях не тогда, когда ожидал получить что-нибудь от них взамен, а когда ценил их внутренние качества. Вскоре после свадьбы он рассказал мне о землетрясении в Сан-Франциско и закончил свой рассказ так:

— Я спас большой портрет Теодора Рузвельта, который тот подарил мне за неделю до этого, когда я пел в Белом доме. Потом я поехал в Лондон и как-то рассказал об этом королю и королеве. Им понравилось, что я спас фотографию. Приятные люди. Король Эдуард очень мил и добр.

В этот момент в комнату вошел маленький старый Гравина. Это был бедный актер — а в свое время один из лучших итальянских комиков, — которого Энрико спас от голодной смерти, дав ему работу (тот вырезал для Энрико газетные статьи). Однажды Гравина показал мне удивительный трюк — его глаза «выдвигались» вперед, как у улитки. Он вошел, весь дрожа, так как страшно робел перед Энрико. Когда он вышел, Энрико сказал:

— Это тоже очень славный и добрый человек. Я рад, что он рядом со мной.

Он не находил разницы между качествами английского короля и старого актера.

Глава 3

Наша столовая в «Никербокер-Отеле» была достаточно велика, чтобы принимать гостей, но в новогодний праздник 1919 года нам пришлось снять целый этаж. Пригласили около тысячи гостей: певцов и служащих «Метрополитен», друзей Энрико, моих родственников и друзей, но на самом деле собралось около трех тысяч человек.

Мы с Энрико встречали гостей, пожимали им руки и желали счастья. Пришло много людей, которых Энрико считал моими знакомыми, а я — его. Это выяснилось потом. В двух залах для танцев играли оркестры. В буфетах было неограниченное количество превосходного шампанского и много всевозможных закусок и сладостей. Мы с Энрико ничего не ели и не пили, потому что до девяти часов встречали гостей, хотя в приглашениях просили прийти к семи. Мы устали и проголодались и, поскольку к буфетам пробраться оказалось невозможно, потихоньку ушли к себе. На следующий день Энрико рассказал, что гости веселились до трех часов утра.

Энрико был награжден одиннадцатью орденами:

Итальянскими:

— Орденом Рыцаря,

— Орденом Командора,

— Орденом Сановника Итальянской Короны.

Немецкими:

— Орденом Красного Орла Пруссии,

— Орденом Королевского Орла Пруссии.

Испанским:

— Орденом Святого Хайме ди Компостелла.

Бельгийским:

— Орденом Леопольда.

Английскими:

— Орденом Святого Михаила,

— Орденом Британской Виктории.

Французскими:

— Орденом Почетного Легиона,

— Орденом «Пальмы Академии».

В Америке за достижения в области искусства орденами не награждают, но честь, оказанная Энрико полицейским управлением Нью-Йорка, оказалась ему более приятна, чем все другие награды. Через десять дней после нашей свадьбы его пригласили петь на ипподроме «Шипсхед Бей» на Лонг-Айленде в пользу нью-йоркской полиции. В тот день я впервые появилась

перед публикой как жена Карузо. Когда мы проходили на свои места, стотысячная толпа аплодировала и приветствовала Энрико громкими возгласами. Спустя четыре месяца к нам в отель пришел комиссар полиции Энрайт, который сообщил, что Энрико присвоено звание почетного капитана нью-йоркской полиции.

— Значит, я могу арестовывать? — спросил Энрико.

— Конечно, — ответил Энрайт.

— Тогда я сыграю хорошую шутку с Гатти.

Энрико очень любил Америку. В течение первой мировой войны он не только участвовал в благотворительных концертах, которые сделали сбор в 21 миллион долларов, но также пожертвовал крупные суммы Организации помощи союзникам и Американскому Красному Кресту. Все довоенные ценные бумаги и текущие доходы он вкладывал в облигации Займа Свободы.

На 50-й стрит около 5-й авеню Энрико снял помещение, где находилась его коллекция антикварных вещей: мебели, бархата и парчи, мрамора и бронзы, табакерок и часов, украшенных драгоценными камнями. После нашей свадьбы он украсил мой салон вещами из этой галереи. Он очень любил бронзу — особенно одну небольшую лампу. Часто он доставал ее после спектакля и держал в руках.

— Прекрасная вещь, — говорил он, — я очень люблю гладить ее.

Я бы не затруднилась ответить на вопрос: «Почему вы вы шли замуж за Карузо?», — но меня об этом не спрашивали, зато часто задавали довольно нетактичный вопрос: «Почему Карузо женился на вас?».

Я не обижалась. Этого я сама не могла понять. Было очень много хорошеньких девушек, куда интереснее меня, знавших итальянский язык и отлично понимавших музыку. Может быть, именно моя «несветскость» привлекла Энрико?

В монастыре меня сурово обучали отречению от всего зем ного. Мы были облачены в черную форму, волосы гладко зачесаны назад. Во время еды мы сидели молча и слушали, как нам читают жития святых. Я не знала, какая у меня внешность, потому что у нас не было зеркал и нас остерегали от таких «земных» мыслей. Если во время молитвы я начинала мечтать, монахиня трогала меня за плечо и шептала:

— Дитя мое. Сгони безучастное выражение с лица.

Я никогда не возражала, не спорила. Я научилась молчаливости, вниманию и смирению.

Энрико не любил говорить о своем пении, а так как я ничего не понимала в музыке, то старалась не докучать ему глупыми замечаниями и бессмысленными советами. Дома он никогда не

говорил со мной о своих профессиональных делах. Все, связанное с ними, он обсуждал в театре и в студии.

Но в письмах он часто писал о репетициях, спектаклях и контрактах. Я его ни о чем не спрашивала, потому что знала: все, что он найдет нужным, он расскажет сам. Карузо был лишен тщеславия — он относился к своему голосу совершенно объективно. Часто, чтобы не допустить даже малейшего хвастовства, он говорил о своем пении в третьем лице. Его невероятная скромность поражала меня еще больше, чем его великолепный голос. Он почти никогда не обсуждал пения своих партнеров. Однажды, после того как он спел дуэт с одной из знаменитых певиц-сопрано, более известной своей красотой, чем голосом, я спросила его, как ему понравилось ее пение.

— Не могу сказать, я ее по-настоящему никогда не слышал, - ответил он.

Он был необычайным приверженцем чистоты. Не мог надеть второй раз рубашку, если носил ее хотя бы час. В театре он переодевался и опрыскивал себя одеколоном после каждого акта. В одной опере он пел любовный дуэт с грузной певицей, которую по ходу действия должен был обнимать. Собираясь в театр, он сказал:

— Невыносимо петь с кем-нибудь, кто не любит мыться, а с тем, от кого пахнет чесноком, - просто невозможно. Надеюсь, публика не заметит недостатка эмоций в нашем дуэте.

В другой раз один французский тенор пригласил нас в свою ложу на концерте. Едва мы успели сесть, как Энрико обратился к нему:

- Мсье, мадам не сможет остаться в ложе, если вы сейчас же не почистите зубы.

Несчастный ушел и вскоре вернулся.

- За этим очень важно следить, - сказал ему Энрико.

Я не могла понять, почему бедный тенор не обиделся смертельно, и спросила об этом Энрико. Он удивленно посмотрел на меня:

- Наоборот. Он должен быть благодарен мне за совет. Мы ведь остались, а могли уйти.

Я вспоминаю лишь один случай, когда Энрико охотно говорил о пении. Это было во время визита к нам Шарпантье, французского боксера, приехавшего на матч с Демпси. Мы никогда раньше не видели его. Он оказался приятным молодым человеком, носившим необыкновенную рубашку, вышитую большими красными стрелами. Когда он ушел, я спросила Энрико, о чем они разговаривали:

- О пении, - ответил он.

- Он хочет петь?

- Нет. Он собирается заниматься боксом.

- Но ведь ты никогда не говоришь о пении. Наверное, он хорошо в нем разбирается?

- Он разбирался только в боксе, когда пришел, но теперь он кое-что понимает и в пении. — Затем он добавил: — А вот меня бокс совершенно не интересует.

Я любила слушать пение Энрико, но не любила оперу. Я ничего в ней не понимала. Опера казалась мне очень шумной и неестественной. Я бывала в «Метрополитен» только для того, чтобы быть рядом с Энрико. В театре меня охватывало возбуждение - я ощущала себя красивой, хорошо одетой и остро чувствовала контраст между новой жизнью и жизнью у отца. После свадьбы я впервые сидела в ложе. Это было открытие сезона, которое пришлось на первый вечер после заключения перемирия. Энрико пел в «Силе судьбы». Я была одета в белое бархатное платье. На мне сияли бриллианты, на плечах красиво покоилась шиншилла. Когда мы с дядей проходили по фойе, толпа расступалась, все улыбались, говорили комплименты, и я чувствовала, что нахожусь на вершине блаженства. После второго акта я прошла к Энрико за кулисы.

— Ты довольна, Дора? — спросил он.

— Очень, — ответила я, — когда горит свет, все смотрят на меня, а когда он гаснет, я могу видеть тебя.

Он усмехнулся и сказал, что когда-то доставал нам с отцом билеты в первый ряд для того, чтобы видеть меня.

Двумя днями раньше Нью-Йорк радовался сообщению о готовящемся заключении мира. Мы сидели в столовой, когда вошел мистер Рейган, управляющий отелем, и сказал, что собравшиеся внизу люди просят Карузо выйти к ним. Мы вышли на балкон, где висели два огромных флага — американский и итальянский. Увидев Карузо, толпа обезумела. В ответ Энрико спел гимны Америки, Англии, Франции и Италии. Люди требовали еще, и Энрико обратился к ним с предложением спеть вместе - и над тысячеголосым хором полетел голос Карузо.

Я попросила торговца из фойе принести цветы, и мы бросали розы, гвоздики, фиалки в восторженную толпу.

Больше, чем признанием его «величайшим тенором мира», Карузо был польщен тем, что его именем назвали... скакового коня. Он ничего не смыслил в скачках, но регулярно просматривал информацию о бегах, ища сообщений об успехах своего тезки. Этот «Энрико Карузо» никогда не выигрывал, но Энрико каждый раз ставил на него десять долларов.

Энрико услышал впервые свой голос таким, каким его

слышат другие, в грамзаписи. Слушая свои пластинки, он говорил с восхищением:

— Хорошо. Это прекрасный голос, - но добавлял с оттенком грусти: — С превосходным голосом нетрудно достичь вершин искусства, а вот удержаться на них очень трудно.

И в самом деле - он был рабом своего таланта. Чем больше он пел, тем больше публика требовала от него. Все свои силы он вкладывал в творчество. Часто он пел не столько потому, что хотел этого, а потому, что это было необходимо. Он стремился ко все большему совершенству и не допускал никакого снисхождения к себе. Из-за пения он не мог спокойно есть, пользоваться благами жизни, хотя давал все это другим. Однажды, после блестящего выступления, он сидел дома за ужином с глазами полными слез и ничего не мог есть.

— Что с тобой? — спросила я.

Он протянул руки и сказал:

— Я выгорел дотла. Остался один пепел.

Было бесполезно говорить о том, что он пел божественно, что его вызывали пятнадцать раз. Именно это и стало причиной, его слез. Я понимала это и молчала. В тот момент следовало молчать.

Мы часто бывали в маленьком ресторанчике на 47-й стрит. Энрико всегда узнавали, и он любезно кланялся и здоровался с окружающими, в то время как Дзирато прокладывал нам путь сквозь толпу. Мы заказывали цыплят, овощи, фрукты, сыр и кофе. Энрико не пил вина. В этом ресторанчике скатерти были грубыми, серебряные подносы и тарелки — тяжелыми. Пане — содержатель ресторанчика — прислуживал нам, а готовила его племянница. Хозяин заведения был стар и безобразен. Несколько лет назад Энрико помог ему в беде.

Основной причиной нашего посещения служило то, что после завтрака Пане приносил колоду карт и они с Энрико часами играли. И вот в этом старом ресторанчике я, разряженная в соболиные меха и жемчуг, с умилением наблюдала, как два давних друга играли старыми итальянскими картами.

Глава 4

В день спектакля в нашем доме не звучала музыка, а Энрико очень мало разговаривал. В этот день он раскладывал пасьянсы, рисовал карикатуры, приклеивал газетные вырезки или разбирал коллекцию золотых монет, которую начал собирать в 1907 году, когда пел в Париже в театре Сары Бернар. После свадьбы он передал мне коллекцию марок, и я разбирала ее, сидя напротив него, также молча и сосредоточенно, как и он. Он часто говорил, что больше любит рисовать, чем петь, и хотя никогда не обучался рисованию, был искусным карикатуристом. Рисуя шаржи на самого себя, он не смотрелся в зеркало, а только ощупывал лицо левой рукой. Была издана книга его карикатур, и каждый день он рисовал шаржи для «Ла Фоллиа». Когда-то Марциале Сиска, издатель газеты, предложил ему большие деньги за ежедневные карикатуры, но Энрико ответил:

— Я не хочу брать деньги за то, что доставляет мне большое удовольствие. Моя работа — пение. Мы друзья — и я буду рисовать даром.

Однажды во время прогулки мы увидели в витрине магазина автографов шарж на президента Вильсона, нарисованный Энрико. Я вошла в магазин узнать цену. Энрико был восхищен, услышав, что шарж стоит семьдесят пять долларов.

— Это щедрая плата за десятиминутный труд, - сказал он. Стоит бросить пение, чтобы посвятить себя рисованию.

Он вырезал все карикатуры на военные темы и наклеивал их в альбом. Когда его увлечение получило известность, ему стали присылать их отовсюду. Но особенно ценил он те, которые доставал сам. Он был совершенно счастлив, когда вырезал, клеил или рисовал, то есть делал что-то своими руками. Книги его практически не интересовали, и он их не читал. В спальне у него хранился потрепанный томик, который он иногда просматривал. На мой вопрос, что это за книга, он отвечал:

— Это книга о вещах и явлениях. Ты знаешь, я ведь почти не учился в школе.

Как-то потом я заглянула в эту книгу и увидела, что на ее титуле рукой Энрико была сделана загадочная надпись: «Эту книгу подарил мне человек, у которого был вырван язык».

В конце молчаливого дня, предшествующего спектаклю, приходил Фучито и Энрико в течение получаса распевался.

Я сидела в студии и слушала его. Он ходил взад-вперед по комнате, держа в руках чашку кофе, и в полный голос пел трудные вокализы. Часто говорят, что Карузо не волновался во

время пения. Это неверно. Он говорил, что всегда волнуется, а тот, кто хвастает, что никогда не волнуется, не артист, а лгун или дурак.

Энрико всегда очень внимательно относился к деталям грима или костюма и требовал, чтобы все было исторически верно. Очень неудобным находил он грим Элеазара в «Еврейке» - и не столько потому, что ему мешали густые брови и длинная борода, а потому, что следовало соорудить на лице большой восковой нос. Это очень беспокоило его.

— Как я буду петь с такой штукой? — загримировавшись, сказал он. - Я чувствую себя очень неуютно, а эта борода меня просто ужасает. Дайте ножницы. Я ее обрежу.

Марио и Дзирато потупили глаза и промолчали. Несчастные гример и костюмер, к которым его слова были обращены, попятились и умоляюще посмотрели на меня.

Я обняла Энрико за плечи и улыбнулась ему в зеркало.

— Хорошо, что ты пришла, Дора, - сказал он.

Он сразу успокоился и попросил сигарету, которую медленно выкурил (через длинный черный мундштук), улыбаясь мне. Окончив курить, он подошел к умывальнику, набрал полный рот соленой воды и прополоскал горло. Марио достал табакерку со шведским табаком, из которой Энрико взял щепотку, чтобы прочистить ноздри, затем выпил рюмку виски и съел четверть яблока.

В карманы, которые были в любом его костюме, он опустил две бутылочки с теплой соленой водой на случай, если потребуется прополоскать горло на сцене. Когда все было готово, Марио подал ему амулеты — витой коралловый рог, освященные медали и старые монеты, связанные золотой цепочкой.

В дверь постучали, и ассистент режиссера спросил, готов ли мистер Карузо. Перед выходом Энрико обратился с мольбой о помощи к своей умершей матери; сама мысль о ней придавала ему мужества. Никто никогда не желал ему удачи, потому что он считал это дурным предзнаменованием.

Энрико часто спрашивали, какую роль он любит больше всего. Он всегда отвечал, что такой роли нет.

— Каждая роль требует большого труда, а поэтому я пою то, что мне нравится, и люблю все, что пою, — говорил он.

Особенно любил он петь в «Еврейке». В этой опере он мог показать себя не только большим певцом, но и настоящим актером. Публика больше всего любила его в «Паяцах». Я наблюдала за ним из-за кулис, когда он пел «Vesti la giubba», и ощутила, до какой степени он входил в образ. Я видела, как он в изнеможении падал на сцене, как в течение пяти минут плакал в

своей уборной после окончания первого акта, а потом выходил из нее, весело насвистывая и подшучивая над хористами.

Публика неизменно бывала потрясена, каким бы ни являлось его действительное состояние в тот момент. Как-то я спросила, в чем состоит секрет его могущества.

— Я многое перенес за свою жизнь, Дора, и слушатели чувствуют это в моем пении. Кто ничего не пережил, не может хорошо петь. После одного особенно сильного потрясения я стал петь по-новому. Это произошло в Лондоне. Я остался совсем один, если не считать моего слуги Мартино. Именно с этими чувствами надо петь Канио. Я уже пел тогда в течение ряда лет, но в тот вечер я стал больше, чем просто хорошим певцом.

За десять лет до случившегося — Энрико было тогда двадцать четыре года — он впервые пел в Ливорно партию Рудольфа. В той же опере с ним дебютировала сопрано Джакетти. Она была молода и очень красива. Они горячо полюбили друг друга. По многим причинам они не могли пожениться, но вели совместную жизнь. Через некоторое время родился Фофо, а потом и Мимми. Такие отношения были неприятны Энрико, но он очень сильно любил ее, хотя она часто заставляла его страдать. Он купил для них в Лондоне дом с садом. Энрико не мог все время оставаться с ними. Однажды он уехал до начала сезона в Лондоне петь в Южную Америку и, как всегда, оставил

певцы — 15 000 долларов. (В «Метрополитен» он получал 2500.) Он должен был петь дважды в неделю, и в специальном пункте контракта оговорили его право покупать пятьдесят билетов по обычным расценкам. Его сопровождали Дзирато, Марио и Фучито. Я не могла поехать, потому что через три месяца ждала ребенка. Я была не только опечалена разлукой с ним, но и волновалась за его здоровье.

В течение нескольких последних лет он страдал сильными головными болями, а в последнее время они усилились. Дзирато и Марио знали, как помочь ему, но он всегда в таких случаях хотел, чтобы я была рядом. Однажды днем, когда все были запиты приготовлениями к отъезду, он сообщил мне, что нанял нового слугу, которого берет с собой в Мексику.

— Кто он? Ты его знаешь? — заволновалась я.

- Да, — ответил он задумчиво. — Я знаю его. Сегодня утром он пришел ко мне просить работу. Я предложил ему место помощника слуги. Я расскажу тебе все.

Когда я был молод и проходил военную службу в Неаполе, мой сержант уговорил маэстро Верджине прослушать меня. Верджине был известным педагогом. Прослушав меня, он скачал: «Твой голос напоминает мне свист ветра в окне». Я расстроился,

но просил, чтобы он разрешил мне бывать на его уроках. Он позволил мне это.

Его дочь была просватана за лучшего ученика — Пунцо. Пунцо был заносчив и глуп, но маэстро говорил, что настанет время, когда он станет величайшим тенором мира. Все свое свободное время я проводил на уроках. Я сидел в углу, и никто не замечал меня. Когда мой брат согласился дослужить за меня в армии — я так благодарен ему за это, — то я стал бывать в классе еще чаще. Я купил зеленую краску и каждый раз перед уходом красил ею свой пиджак и гладил его. Мачеха соорудила мне манишки из бумаги. Ходить приходилось далеко, а ботинки стоили денег. Поэтому я пел на свадьбах и похоронах, чтобы немного заработать. Я помню, как купил первую пару, — это были превосходные ботинки, но с картонными подошвами. На пол пути к дому маэстро я попал под дождь. Мои прекрасные ботинки промокли. Высохнув, они сморщились, и мне пришлось идти домой босиком.

В конце года ученики держали экзамен. Когда все выступили, я попросил у маэстро разрешение спеть. Он разрешил. «У тебя нет голоса, но ты смышлен и кое-чему научился», — сказал он Пунцо женился на его дочери, но в жизни ничего не достиг. 'Ото он приходил сегодня утром — он все такой же гордый и глупый.

— Тогда зачем же ты его берешь?

— Я научу его, как стать хорошим слугой. Он научится кое-чему и, может быть, поумнеет.

Перед отъездом в Мексику Энрико впервые спросил о Брунетте, жене Марио. Я ответила, что она работает у Бенделя. Это его поразило.

— Невозможно! Как может кто-нибудь, принадлежащий к моему дому, работать где-то! Я должен увидеть Марио.

Я пошла за Энрико, чтобы услышать все, что он скажет:

— Что за дьявол! Ты позволяешь Брунетте работать где-то! Сумасшедший! Вели ей немедленно уйти с работы. Она будет служить синьоре — готовить все для ребенка.

Марио не мог произнести ни слова. У дверей Энрико повернулся:

— Сними большую комнату с ванной. — И уже на ходу добавил: — Теперь ты будешь получать двойное жалованье.

Глава 5

Ранней осенью Энрико уехал в Мексику. Я чувствовала себя одинокой — он заменял мне целый мир. Единственным утешением было перебирать вещи, к которым прикасалась его рука. Я приводила в порядок его белье, наклеивала в альбом фотографии, разбирала марки и слушала его пластинки.

В одном из писем он советовал мне отвлечься, и я пригласила родных пообедать и поиграть в бридж. Но я не играла с ними, а забравшись в его ванную комнату, плакала, уткнувшись в его большой белый халат. Мы писали или телеграфировали друг другу каждый день, а иногда по два — три раза в день. У него усилились головные боли, и я все время беспокоилась. Когда я что-нибудь делала, дни проходили быстрее. Энрико всегда говорил, что нельзя бездельничать.

— Всегда что-нибудь делай, Дора. Это единственный способ быть счастливым.

Я занялась приведением в порядок детской комнаты и вышивала юбочки и платьица для ребенка. Мне не приходило в голову, что может родиться мальчик. Он хотел девочку — единственное, чего у него не было, чего он не мог купить и что я могла ему дать — значит, должна была родиться девочка.

Мне часто говорили, что, должно быть, очень хорошо быть женой лучшего в мире певца. Я отвечала: «Да». И это было именно так, потому что таким певцом являлся Энрико. Он был лучшим человеком в мире... и, кроме того, лучшим певцом.

Первое письмо от него посыльный принес с вокзала, а потом я получала от него по письму, а то и по два в день.

На пути из Филадельфии в Мехико
17 сентября 1919 года
Моя дорогая Дора!

... Поезд так трясет, что писать невозможно. Иногда кажется, что ноги отлетят от туловища. Мы похожи на людей, напившихся виски. Надеюсь, что несмотря на мое плохое знание английского языка, ты поймешь, что я переживал, когда поезд отходил от Нью-Йорка. Я даже не могу объяснить, что чувствовал тогда. Все вокруг поблекло, а сердце как будто перестало биться. Я закрыл глаза, чтобы ничто не мешало мне думать о тебе Так было приятнее, и я думал, что ничто не помешает мне до приезда в Мехико, но ошибся. Когда мы прибыли в Манхэттен, в купе ворвались люди и нарушили мои мечтанья. Но, разговаривая с ними, я все время думал о тебе и буду думать, пока не вернусь.

Как ни печально, но надо прощаться. Дора, дорогая!

Я предан тебе и буду тебя любить, пока не предстану перед Высшим Судьей. Я храню тебя в моем сердце.

Твой Рико.

Четвертый день на пути в Мехико. Поезд отошел от Ларедо
20 сентября 1919 года

Дорогая Дора!

Прошлой ночью в Сан-Антонио я получил твою телеграмму и не мог спать всю ночь, поскольку чувствовал, что ты рядом, и слушал твой сладкий голос, говоривший мне так много хорошего. Ты всегда со мной, в моей душе.

Сегодня мы встали рано, так как пересаживались на другой поезд. Рано утром мы прибыли в Ларедо, откуда я послал тебе телеграмму. Пунцо чуть не свел меня с ума. Он забыл ключ от чемодана, который мы привезли из Италии. Я очень беспокоился во время таможенного досмотра. К счастью, наш багаж проверяла славная девушка, которая поверила мне, когда я объяснил ей, в чем дело, и сказал, что не хотел бы ломать замок Ты пишешь, что плакала над моим письмом. Значит, ты поняла меня? Я не прибегал ни к чьей помощи, когда писал, даже когда не был уверен, что не делаю ошибок. Я хочу хорошо изучил, твой язык, чтобы сказать тебе все ласковые слова, которые есть в нем, но ты знаешь, что мой словарный запас невелик, хотя я стараюсь изо всех сил показать тебе, как велика и сильна моя любовь.

Мы проезжаем по бедной стране, по огромным полям, где, если и попадаются люди, то грязные и бедно одетые. Сейчас показались вдали горы. Их вид на фоне чистого неба напомнил мне родину. Мы уже два дня мучаемся от невыносимой жары. Проводник уверяет, что через два-три часа будет прохладнее. Я скоро вернусь и больше никуда без тебя не поеду. Я устал от жары. Надо немного отдохнуть.

Посылаю тебе, моя любовь, много миллиардов поцелуев.

Навсегда твой Рико.

Калье Букарелли, 85, Мехико
Понедельник, 22 сентября 1919 года

Моя дорогая Дора!

Наконец-то закончилась наша поездка. И какая поездка! До американской границы ехать было неплохо, но когда мы переехали Рио-Гранде, все изменилось. Вагон был неплохой, но комфорта никакого. Воды не хватало, пища была однообразной, а белье очень плохим. Сначала эта дикая страна заинтересовала

меня, но потом однообразие надоело. Вечером мы остановились в Салтильо, откуда нас до конца пути сопровождал отряд из пятидесяти солдат. Это была мера предосторожности, но я был уверен, что ничего не случится, и ничего не случилось. В Салтильо, как я уже тебе телеграфировал, я принял ванну и поужинал в одном из лучших отелей. Ко мне нагрянула местная пресса. Я долго беседовал с журналистами, и все остались довольны.

...В семь часов мы подъехали к большому дому, в котором жил один из членов бывшего правительства. В доме довольно уютно. Он обставлен во французском стиле, но в нем нет ни картин, ни безделушек. Я с удовольствием принял ванну и позавтракал. Осмотрев дом, я отправился в город.

Улицы очень красивы. Дома такие, как и во всей Южной Америке. Много монументов — непомерно больших для здешних улиц. Значительную часть населения составляют индейцы.

На улицах много экипажей и больших шляп. Жарко. У меня поэтому немного разболелась голова. В половине третьего мы пообедали, потому что вечером из-за жары ничего не ели. Готовит хорошо. Повар немного говорит по-французски. Кажется, и слишком много написал о себе.

Очень рад, что ты каждый день сообщаешь о себе. Надеюсь, что это и в дальнейшем будет так. Я очень рад каждому твоему письму, потому что мне необходимо твое постоянное присутствие. Как поживает наша девочка? Надеюсь, она не доставляет тебе большого беспокойства? Пожалуйста, дорогая, сообщай мне обо всем. Мне кажется, что мы уже давно разлучены, и когда я вспоминаю о том, что мы еще не скоро увидимся, я боюсь, что сойду с ума.

Прости меня, дорогая, пришел репортер. Очевидно, у меня низкое давление, потому что я очень спокоен и сдержан. В соседней комнате работает настройщик и его монотонные «ти-тин» и «блям-блям» гонят мысли из моей головы.

Всегда твой Рико.

Калье Букарелли, 85, Мехико
22 сентября 1919 года 23.30

Моя Дора!

Ты будешь удивлена тем, что я пишу так поздно, но когда узнаешь причину, скажешь: «Бедный мой Рико!». Закончив писать сегодня днем письмо, я до восьми часов беседовал с репортером и мистером Риверой, импресарио. Я очень устал, и к тому же разболелась голова. Выпив стакан молока и приняв три таблетки аспирина, лег спать. В половине одиннадцатого я проснулся от

ощущения, что кто-то меня укусил. Я включил свет и осмотрелся. Никого. Я решил, что это мне показалось, но в этот момент почувствовал укус в шею. Я провел по шее рукой и увидел на ней каплю крови, осмотрел постель и обнаружил в ней трех клопов. Убив их, выключил свет и снова лег спать, но через некоторое время снова почувствовал укус. Я встал, снова осмотрел постель и обнаружил под матрацем целое скопище этих противных тварей. Бррр!! Я убил всех, но тело ужасно чешется. Сейчас я вижу на рубашке пятна крови: это значит, что я давил их своим телом. Мне никогда не приходилось иметь дело с клопами, но так как я привык к присутствию тараканов на кораблях, то полагал, что ничего особенного не случится, и потому лег спать снова, но их было так много и они так противно пахнут, что меня тошнит и трясет. Не знаю, что делать, потому что все спят; думаю провести остаток ночи в хождении по комнате. Она казалась такой чистой и уютной, когда я вошел в нее и предвкушал спокойный сон. Не знаю, что делать, чувствую себя одиноким, и мне страшен даже шум пера, которым я пишу. На момент прекращаю писать, чтобы почесаться. Все тело горит.

Что ты мне посоветуешь сделать? Снова лечь и постараться уснуть? Я тоже так думаю. Если меня снова станут кусать, я буду писать тебе всю ночь.

Ты сейчас спишь спокойно, а я далеко от тебя, но моя душа с тобой. Она целует тебя за меня.

Спокойной ночи, мое сокровище. Рико.

Калье Букарелли, 85, Мехико
26 сентября 1919 года
2 часа пополуночи

Дорогая Дора!

Что за день сегодня! Даже две твои телеграммы не смогли облегчить мое состояние. Это ужасно. Я не знаю, что делать, и боюсь, что со мной что-нибудь произойдет, так как не в силах больше терпеть. Не могу понять, что является причиной таких странных болей — погода или, может быть, я еще не совсем оправился после поездки в поезде. Ничего подобного со мной еще не было!

Если мне не станет легче, не буду петь. Надеюсь завтра получить от тебя письмо. Я люблю тебя, Дора, и никогда больше не уеду от тебя.

Твой Рико.

Калье Букарелли, 85, Мехико
27 сентября 1919 года

18 часов

Моя дорогая Дора!

Ура!! Получил твое первое письмо! Какая радость! С часу дня я стал совсем другим человеком. Чувствую себя значительно лучше. Твое письмо — бальзам для меня, и я очень-очень тебе благодарен. В час дня, когда я пришел на первую репетицию, мистер Ривера сказал мне:

— У меня есть кое-что, что поможет вам чувствовать себя лучше.

Я сразу же понял, в чем дело.

— Письмо от моей дорогой Доры?

— Да, — ответил он и дал мне твое драгоценное письмо.

Я поцеловал его и приложил к сердцу, которое прыгало от радости. О, Дора! Ты не можешь себе представить, до чего я рад твоему письму. В тот момент вся наша жизнь прошла у меня перед глазами. Я с трепетом разорвал конверт и с волнением читал письмо, не обращая внимания на шум оркестра. Ты скучаешь без меня? Вообрази мое положение! Все вокруг тебя напоминает обо мне, ая, несчастный, имею только твой портрет. Но ты вся в моем сердце и душе. Когда закрываю глаза, я отчетливо вижу тебя. Никогда больше не уеду от тебя. Это ужасно. Какая огромная разница между жизнью с тобой и без тебя! Я чувствую, что потерял голос. Как жаль, что я плохо знаю твой язык и не могу описать тебе полностью то, что чувствую. Иногда я боюсь, что ты будешь надо мной смеяться. Я также боюсь, что мало образован для тебя и ты можешь меня покинуть. О, нет! Ты не сделаешь этой ужасной вещи! Иначе я убью тебя! Ты моя и умрешь со мной. Ты поняла? Я очень мстителен, но ты никогда не увидишь меня таким. Очень рад, что твоя семья тебя не забывает. Я люблю их всех. Я послал открытку нашей дорогой матери и надеюсь, что у нее все в порядке. Если будешь писать ей, не забудь передать привет от меня. Я люблю ее как свою родную мать.

... В шесть часов я вернулся домой и ненадолго прилег, потому что опять разболелась голова. В 20.35 мы отправились в театр, где мексиканские певцы давали представление в мою честь. Когда я вышел из машины, толпа, собравшаяся на улице, долго аплодировала. Мы прошли в ложу, убранную флагами и цветами. И на этот раз публика кричала «ура» и, стоя, аплодировала. Представление началось вторым актом «Риголетто». Затем дали второй акт «Баттерфляй». Приятно. Хорошие голоса. Затем последовало концертное отделение. Публика очень сурово обходилась с теми, кто пел плохо. Представление закончилось вторым актом «Аиды» около часу

ночи. Домой вернулся усталый и сразу же лег в постель. Я так жалею, что нахожусь далеко от тебя.

Ты в моем сердце, всегда думаю о тебе.

Всегда твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико

29 сентября 1919 года 16 часов

Дорогая Дора!

Неужели ты забыла меня в такой день? Не могу поверить. Это ужасно и жестоко, особенно после того письма, которое я вчера получил около десяти часов. Все утро я жду от тебя нового письма, но его нет. Пришла телеграмма. Я думал, что она от тебя. Сердце у меня радостно прыгало, но, к сожалению, она была от моего ювелира. Нехорошо! Забыть обо мне в такой день!! Но сердце говорит мне, что до ухода в театр я получу весточку от моей дорогой Доры. Как я тебе утром телеграфировал, я чувствую себя значительно лучше и надеюсь, что вечером буду иметь большой успех. В последние дни очень волновался, потому что страдал от головных болей. Слава Богу, сегодня чувствую себя отлично, хотя и идет дождь. Погода здесь удивительная. То ясно, то вдруг все небо затягивается тучами и дождь льет рекой, а через полчаса небо опять чистое. Такая изменчивая погода действует на меня, как и на всех, очень плохо. Плохо чувствует себя Фучито. Теперь очередь за Дзирато. Мы все уплатили дань - сначала Пунцо, потом Марио и я, а теперь Фучито. Надеюсь, что все будет хорошо и этот месяц скоро пройдет. Нет ли известий от Мимми? Он напишет только тогда, когда ты напишешь ему. Живу надеждой, что получу что-нибудь от дорогой Доры до спектакля. Если не получу, не стану больше тебе писать.

Любящий, тысячу раз целующий тебя, навсегда твой Рико.

29 сентября Энрико дебютировал в Мехико в театре «Эсперанца Ирис» в опере «Любовный напиток» (дирижировал Хосе де Ривера). Он был очень расстроен тем, что моя телеграмма с пожеланием успеха не пришла вовремя.

Мехико

30 сентября 1919 года

Я не знаю, с чего начать письмо, как назвать тебя - ласковым или бранным словом. Для того чтобы начать, как обычно, нужно, чтобы письма не оставались безответными. Весь вчерашний день и вечер я был в ужасном настроении, потому что не получал от тебя вестей. И это в такой день! Я не спал всю ночь и думал о том, что могло с тобой случиться. Самые дурные мысли приходили в

голову. Все пожелали мне успеха, кроме тебя. Связь не была нарушена, потому что я получал вчера телеграммы с утра до вечера и только от тебя и твоей семьи ничего не пришло. Я не могу понять, что случилось. Не хотел писать, пока не получу от тебя письма, но мое сердце не выдержало и рано утром я отправил тебе телеграмму с просьбой как можно скорей ответить, что произошло. Успех вчера был огромный, хотя никто не ожидал этого. Сначала я нервничал. В зале можно было услышать, как пролетает муха, так настороженно затаилась публика. После небольшой первой арии немного аплодировали...

Сейчас Марио принес три телеграммы. Открываю первую... Не та. Вторую... тоже. Надеюсь, что третья... Ура!!! От тебя. Да, это телеграмма от тебя с пожеланием успеха, которую я так ждал вчера, но ничего — я рад, зная, что с тобой ничего не случилось. Даже головная боль сразу прошла. Теперь я могу написать: «Моя дорогая Дора!».

Спасибо. Продолжаю описание спектакля.

После первой маленькой арии я очень разволновался, так как чувствовал, что публика нехорошо настроена после сообщений в газетах, которые появились перед гастролями, о том, что я стар и нахожусь в плохой форме, но когда я спел «Largo» в дуэте первого акта... Какая вспышка! Все буквально сошли с ума, и мы на некоторое время прекратили петь. С этого момента я овладел публикой. В конце акта, где я хорошо взял две верхние ноты, энтузиазм публики достиг зенита. Мое сердце радостно билось, и я был близок к тому, чтобы потерять сознание. Поздравлениям не было конца. Второй акт прошел хорошо. Между мной и публикой установился полный контакт. Я никогда не слышал такого шумного приема после большой арии, даже когда пел в «Метрополитен». Ты помнишь, какой шум стоял во время грозы на вилле в Италии? То же самое было вчера после романса Неморино. Все бешено аплодировали, кричали как безумные «браво, браво, браво, браво!!» и размахивали платками и шарфами, как флагами. В течение десяти минут требовали биса, но я не бисировал, так как был очень взволнован. Конец спектакля прошел хорошо. Жаль, что у меня оказались плохие партнеры. Утренняя пресса очень хорошо отзывается обо мне. Я рад, что завоевал симпатии публики. Уже поздно, моя любовь. Я должен одеваться и идти на репетицию.

Рико.

Букарелли, 85, Мехико
1 октября 1919 года
19 часов

Дорогая Дора!

Передо мной лежат четыре твоих письма (от 20, 21, 22, 23 сентября), за которые я тебе очень благодарен. Ты не можешь представить себе, какя рад, что ты пишешь мне по-итальянски. Я чувствую, что ты рядом со мной, твой голос ласкает мой слух и заставляет биться мое сердце. Самый большой подарок, который мне очень дорог, — твоя детская фотография. Я много раз целовал ее и верю, что ты подаришь мне такую же хорошенькую девочку. Это будет большая радость для нас. Как я буду счастлив! Душа моя, я очень люблю тебя. Моя дорогая Дора! Не пользуйся учебником, когда будешь мне писать. Я хорошо тебя понимаю. Иначе мне придется делать то же самое. Будем сами поправлять друг друга. Не обращай внимания на Мимми. Если он не будет забывать нас, мы его тоже будем помнить. Бедная, маленькая, обожаемая моя!

Целую тебя и Пушину.

Твой Рико.

Второго октября он пел второй спектакль. Это был «Бал-маскарад». В утренней телеграмме Энрико сообщал, что они репетировали до полуночи. Он не пел в этой опере с апреля 1916 года, когда выступал в Бостоне, а так как партия Ричарда очень трудна, то он волновался больше, чем обычно.

Мехико

3 октября 1919 года

2.35 ночи

Моя Дора!

Не упрекай меня за то, что пишу так поздно, но я хочу рассказать тебе обо всем и, только сделав это, лягу спать. Расскажу все по порядку. Закончив предыдущее письмо, я оделся и поехал в театр, который уже был переполнен.

Как я сообщал тебе в телеграмме, шел «Бал-маскарад». Я был расстроен, что не получил от тебя никаких известий, но прощаю тебя, потому что ты не знала, когда я пою. Я переживал. Случилось многое, из-за чего спектакль не обещал стать хорошим. Сопрано была откровенно плохой, Папи отказался дирижировать, а я чувствовал себя утомленным от сильной головной боли, тревожившей меня целый день. Я приехал в театр в восемь часов, быстро загримировался и оделся, а в восемь сорок пять начался спектакль. После первой арии аплодировали, но я заметил, что публика не в настроении. После первого акта занавес поднялся два раза. Второй акт начался хорошо. У Без- анцони (мы встречались с ней в ресторане у Пане) превосходный голос. У

сопрано неприятный тремолирующий звук, и публике она не понравилась. Затем мы спели трио, но без успеха. Потом я начал петь «Баркаролу», и после первой части публика разразилась аплодисментами. Я жестом показал, что еще не кончил петь, и спел вторую часть, после которой имел полный успех. «Scherzo ad e follia» (ансамбль 2-го акта «Смешно, старуха эта...» — М.М.) был спет очень хорошо, но публика ничего не поняла. В третьем акте я пел дуэт с сопрано и трио с сопрано и баритоном. Эти места не получили одобрения, так как мои партнеры знали только свои сольные партии и ничего больше. Если бы я был слушателем, то реагировал бы также. Здесь не делают перерыва между первой и второй частями четвертого акта, к чему я привык, а о начале второй части меня никто не предупредил. Но я услышал музыку вступления и, как пуля, вылетел на сцену. Несколько тактов оркестру пришлось повторить, прежде чем я смог вступить, что публика поняла.

Я спел очень хорошо, и слушатели пришли в экстаз. Финал прошел отлично, и после спектакля я был вынужден трижды выходить один. Все окончилось хорошо, только сопрано была очень расстроена. Прости меня, пора спать. Пожелай мне спокойной ночи.

Любящий тебя Рико.

5 октября Карузо пел в «Кармен» — в спектакле, состоявшемся на открытом воздухе в «Эль Торео», — впервые на арене для боя быков в присутствии 22 000 зрителей.

Мехико
Понедельник, 6 октября 1919 года
19 часов

Моя дорогая Дора!

Только сейчас я смог взять перо и начать писать тебе. Надеюсь, ты не рассердишься за то, что я отправлю тебе небольшое письмо, но иначе я не смог бы отослать его вовремя. Начуе с описания вчерашнего дня с того момента, как я расстался с тобой в нашей переписке. После всех приготовлений я отправился на Plaza. Это арена для боя быков, на которой установили сцену для оперного представления. Она была ярко освещена солнцем. Голос мой звучал несколько тускло, и это меня беспокоило. Я быстро оделся, прополоскал горло и вышел на сцену Меня встретили аплодисментами, но не очень дружными и начал петь. Голос звучал тяжело, но я понял, что к концу акта распоюсь. Наступил дуэт с Микаэлой, певшей плохо. Я нервничал и в конце дуэта звучал неважно, хотя публика аплодировала. С

этого момента стала меняться погода. Огромные тучи затянули небо, и в конце первого акта пошел дождь, так что мы с Кармен совершенно промокли. Мы полагали, что публика разойдется, но никто не двинулся с места. После первого акта немного аплодировали. Второй акт начался под проливным дождем, и на это стоило посмотреть. Все вокруг было усеяно тысячами зонтиков. Мы не видели голов слушателей и не слышали оркестра. Мы надеялись, что спектакль вот-вот прекратится, но слушатели не уходили. Я начал петь романс и в середине дал кикс на одной из нот (виноват в этом дождь). Мелькнула мысль: «Сейчас начнется скандал», — но никто не издал ни звука. Я с воодушевлением закончил романс. Публика горячо аплодировала. А дождь все усиливался. После окончания акта нас вызывали пять раз. Было очень забавно смотреть на трибуны сплошь усеянные зонтиками. В третьем акте погода стала ещё хуже, а в конце его просто невыносимой. Я спросил: «Когда мы прекратим петь?». Мне ответили: «Когда этого пожелает публика». Но никто этого не желал. В конце третьего акта я распелся, и мне много аплодировали. Кому-то в голову пришла неудачная мысль сказать слушателям, что представление не будет продол жаться, так как актеры не хотят больше петь при такой погоде. В этот момент я был в уборной и готовился к последнему акту, вдруг я услышал сильный шум. Наши уборные были расположены там, где готовят к бою быков. Я послал узнать, в чем дело. Когда мне сообщили, что это волнуется публика, я просил объявить, что представление продолжится. Это было сказано вовремя, так как уже начали ломать сцену. Мы закончили оперу под сплошным ливнем, и половина зрителей, безусловно, ничего не слышала из-за шума дождя. Мы все промокли и, наверное, только поэтому имели успех, так как актерски оказались слабы. Пресса отнеслась к нам благосклонно, и лишь в одной газете написали, да и то в добродушном тоне, что я выступал неудачно.

Доброй ночи. До завтра, любимая моя. Рико.

Мехико
7 октября 1919 года 18 часов

Моя милая Дора!

Ты плакала над моим письмом? Почему? Неужели из-за того, что я плохо пишу по-английски? Я не хочу, чтобы твои прекрасные глаза роняли слезы. А уж если плакать, так плачь, когда я рядом, чтобы я мог помочь тебе. Твоя жизнь и моя любовь должны приносить тебе только радость. Теперь о моей жизни. Этим утром я должен уплатить по первому счету 1860 долларов!! Это, пожалуй, слишком много, но ничего не поделаешь. Мы во

многом здесь нуждаемся и платим буквально за каждое полотенце. Когда я буду уезжать отсюда, то отдам все, что не смогу взять с собой в больницу. В два часа мы поехали в город на обед. Нас пригласил мистер Trepiedi (Трепьеди), но его правильнее называть «Onepiedi» (Ванпьеди), потому что он не слишком расторопен[4]. Он сказал, что обед будет семейным, но было очень много народа из итальянской колонии, включая нашего посланника. Обед был превосходным. В конце его мистер Трепьеди произнес речь, в которой просил меня вспомнить о бедной итальянской колонии и дать концерт в ее пользу. Это и было целью обеда. Я поблагодарил за прием, хотя указал на то, что такое лукуллово угощение было бы лучше отдать бедным, показав, как надо проявлять великодушие. Все это я сказал со смехом, но смысл заключался в том, что не надо было приглашать меня на обед, чтобы склонить к благотворительности. Не таю, как присутствующие истолковали мои слова, но все молчали, как люди, попавшие в неловкое положение.

Весь мир одинаков.

Доброй ночи, мое сокровище. Я очень люблю тебя и хочу, чтобы ты любила меня так же сильно.

Всегда твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико
8 октября 1919 года 16.30

Моя дорогая Дора!

Сегодня утром, проснувшись, я сразу же спросил, нет ли писем для меня. Мне ответили, что, к сожалению, нет. Я стал проклинать бандитов, ограбивших поезд на прошлой неделе, так как подумал, что твои письма сгорели (бандиты подожгли поезд), но взял себя в руки, сказав себе: «Надо ждать». Потом я подумал, как много дней не буду получать от тебя писем, и очень опечалился. «Конечно, - успокаивал я себя, - есть телеграф», но телеграмма не может заменить письма. В час дня я отправился к парикмахеру постричь волосы и ногти. Вернулся в три часа. После завтрака Дзирато взволнованно сказал мне: «Commendatore, простите меня. Я — скотина...» — и вынул из кармана четыре твоих письма, пришедших в мое отсутствие. Вообрази мою радость. Нет, моя Дора, невозможно, чтобы твоя любовь была сильней моей. Ты молода и мало знаешь, что такое жизнь и любовь. Мое сердце было разбито перенесенными в жизни горестями, но занятое тобой и ощутившее всю силу любви к тебе, оно освободилось от яда, столько лет находившегося в нем, и наполнилось любовью к моей чудесной Доре. Вот почему невозможно, чтобы ты любила меня сильнее, чем я тебя, и ты

убедишься, что я прав. Дора, я обожаю тебя!

Рад получить хорошие вести о Мимми. Надеюсь, он будет хорошим человеком. Вели девочке в тебе быть спокойной. Это такая радость, и я благодарю Бога за это счастье. Доброй ночи, моя маленькая, обожаемая жена. Крепко обнимаю тебя.

Всегда твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико
9 октября 1919 года 15.30

Моя дорогая Дора!

Вчера вечером на репетиции я не мог издать ни звука, а ут* ром осмотрел свои связки и увидел, что они очень покраснели Можешь вообразить, как я расстроился. Приняв ванну, я сно ва лег в постель и спал до двенадцати часов. У меня сломались часы, и я послал Марио узнать, сколько времени. Он вернулся и принес два твоих письма, которые я прижал к сердцу. Прочтя их по три раза, я стал одеваться. Я снова посмотрел горло, чтобы проверить, как подействовало лечение. Связки выглядели несколько лучше. Был превосходный день, и я немного погулял.

Моя Дора! Как могла попасть тебе в глаз металлическая крошка?! Милая моя! Она страдала, а я не был рядом с ней! Очень рад, что все хорошо кончилось. Теперь я понимаю, почему ты просишь хотя бы что-нибудь заплатить Джозефу. Но было бы лучше, если б ты подождала меня, а я уплачу все целиком. Я никогда ни в чем не упрекну тебя, но позволь мне разобраться во всем самому. Меня совсем не волнуют твои расходы. Я хочу всегда видеть тебя довольной и счастливой. Если когда- нибудь у меня не будет денег, я стану без устали работать кем угодно, хотя бы грузчиком, чтобы ты могла быть довольна жизнью. Я весь твой душой и телом.

Люблю и целую мою обожаемую Дору. Рико.

Четвертым выступлением Карузо было исполнение партии Самсона в опере «Самсон и Далила» в театре «Эсперанца Ирис».

Мехико
10 октября 1919 г.
16 часов

Вчера, простившись с тобой, я попробовал петь. Что было с моим голосом, дорогая! Центр совершенно не звучал. Но мало-помалу его состояние улучшилось, и я, дрожа от волнения, пошел в театр. Сначала я звучал, как обычно, но в том месте, где (Самсон обращается к народу, я почувствовал, что мне тяжело петь на середине. Вместо того чтобы форсировать голос, я стал

очень осторожно петь на верхах, и первая картина прошла без аплодисментов. Затем пели трио. Все было в порядке. Во втором акте я распелся, дуэт прошел отлично. Конец спектакля шел успешно. Я благодарил Бога, когда спектакль окончился. И сообщаю тебе в телеграмме, что постараюсь экономить, так как боюсь, что не смогу окончить гастроли и буду вынужден вернуть аванс. Ты знаешь, что я всегда чего-нибудь опасаюсь и не всегда напрасно. Очень благодарен тебе, что находишь время писать мне каждый день.

Да, дорогая, когда люди образуют квадрат, его трудно превратить в круг. Я очень опечален тем, что ты мне сообщила, но будет лучше, если твой приятель сделает уступку своей жене, иначе их совместная жизнь долго не продлится. Конечно, жена должна понимать, что муж работает и должен быть главой семьи. Не давай никаких советов. Ты ведь знаешь, у нас говорят: «Не суй ладонь в проем дверной и не встревай меж мужем и женой». Ты не должна оставлять и свою подругу, потому что если она так влюблена в своего капитана, никто ничего не сможет сделать.

Доброй ночи, моя любимая, моя дорогая. Рико.

Мехико
11 октября 1919 года
17 часов

Милая Дора!

Всегда, когда я пишу тебе, то начинаю с того момента, на котором остановился в прошлом письме — так мне легче писать, и в то же время ты узнаешь, что я делал в течение дня и вечера. Должна была состояться репетиция «Марты», но в последний момент мне по телефону сообщили, что ее не будет, и просили, если я не возражаю, прослушать дома молодую певицу. В половине девятого пришли Папи, импресарио, несколько джентльменов и молодая леди. Ты знаешь, что в труппе нет хорошей сопрано и импресарио всюду искал возможность восполнить этот пробел. Юная леди спела, и у нее оказался неплохой голос. Я высказался о ней одобрительно, и импресарио сказал, что она будет петь со мной в «Манон» Пуччини. Мне это было безразлично. В десять часов с мыслями о тебе я лег спать. Я называл тебя самыми ласковыми именами и со словами «Дора, моя Дора» уснул. Дорогая моя, ты не можешь представить себе, как мне хочется вернуться домой. Мне кажется, что я нахожусь здесь тысячу лет, все время считая оставшиеся дни. Скучаю ли я по моей Доре? Я хотел бы умереть (в шутку!), чтобы мексиканцы отправили тебе мое тело, а затем ожить, чтобы никогда больше не уезжать от тебя. Родная моя, ты не представляешь, как я люблю

тебя! Скоро ты увидишь, как велика моя любовь, и, убедившись в этом, будешь так же горячо любить меня. Мое сердце бьется так сильно, что кажется, будто хочет улететь к тебе. Никогда больше не уеду от тебя. Когда вернусь, то отведу тебя к кузнецу и заставлю его соединить цепью наши ноги. Я с горечью думаю, дорогая, что должен прекратить работать и уехать на родину, в теплые края. Иначе я превращусь в плод, упавший с дерева. Я боюсь уехать от тебя, боюсь умереть и хочу быть всегда около тебя, чтобы наслаждаться твоим обаянием и лаской. У Мимми есть голос? Не думаю. Рад узнать, что его любят, и надеюсь, что его не избалуют. Надо прилечь, хотя мне очень жаль расставаться с тобой.

Нежно обнимаю и горячо целую. Твой Рико.

12 октября Энрико пел в «Бале-маскараде» на арене цирка во время сильной грозы.

Мехико
12 октября 1919 года
18 часов

Моя любимая Дора!

Прошел ужасный день, и я его полностью опишу, начав с того момента, на котором остановился. В 15.30 начался спектакль. Голос звучал прекрасно, настроение было отличным, но на небе сгущались тучи и в конце первого акта начал накрапывать дождь. Второй акт прошел с большим успехом. Эти два акта я пропел очень хорошо, и все были довольны, но во время баркаролы, когда я спел «Io sfido i venti, i lampi, i tuoni ecc.» («Послушны мне ветры, молнии и громы...»), на самом деле подул сильный ветер, сверкнула молния и грянул гром. Началась гроза. Я готовился к третьему акту, когда вода стала заливать мою уборную. Мы ждали в течение получаса. Публика не расходилась. Когда стало невозможно находиться в уборной, я надел плащ и вышел. На мой вопрос: «Что мы будем делать?», — последовал ответ: «Пойдем домой». Быстро переодевшись, я ушел. Это первый случай в моей певческой деятельности, когда я, не сделав до конца работу, получаю деньги. Что ты скажешь, если я отдам эти деньги бедным? Я не хотел их брать, но импресарио ни копейки не вернул зрителям, поэтому я не вижу оснований отдавать деньги. Я думаю послать их моим бедным родным.

Весь твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико
14 октября 1919 года

16 часов

Дорогая Дора!

В десять часов я лег спать. Головная боль сегодня не очень сильная. Я хотел поскорее уснуть, и это мне удалось, но в половине двенадцатого я проснулся от шума. Пришел Дзирато, который думал, что я не сплю, потому что у меня горел свет, и подал мне две твои телеграммы. Когда я взял их, мне послышалось, что твой ласковый голос произнес «Рико, Рико, это я!». Я осмотрелся. Никого, только Дзирато, еще более высокий, чем обычно, молча ждал, что я скажу. Я три или четыре раза прочел телеграммы, положил их около сердца и снова уснул. Проснувшись в два часа, я долго целовал их. Все только и говорят о «Марте». Этой оперой я, кажется, всех поражу. Как и ты, я готов писать тебе каждую минуту и, когда мне мешают, становлюсь мрачен и зол, пока не получу возможности взять перо и начать писать «Моя милая Дора». Тогда мое настроение меняется. Я становлюсь спокойным и кротким. Получил не очень подробное письмо от Мимми. Отвечу ему тем же. Как ни печально, но должен кончать письмо. Как сильно я люблю тебя, дорогая Дора! Ты вся в моем сердце.

Твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико

16 октября 1919 года

Моя дорогая Дора!

Только что встал с постели, а до этого в течение двух часов меня мучили сильные боли. О, моя Дора! Я не знаю, что мне делать. Я очень боюсь. Я не хочу больше оставаться в этой стране. Я хочу умереть возле тебя! Я плачу оттого, что страдаю сам и заставляю тебя страдать. Я не сделал ничего плохого. Почему же я должен мучиться от этих адских болей? Я еле дышу и бледен, как мертвец. Сегодня у меня дважды были приступы. Люди говорят, что Бог милостив ко мне. Полагаюсь на его доброту. Хочу, чтобы ты была рядом.

Моя Дора! Я люблю тебя больше, чем Бога.

Твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико

16 октября 1919 года 19.30

Дорогая Дора!

...После того, как прочел два твоих письма, почувствовал себя лучше. Мистер Стефанини сказал мне: «Дорогой мой, вы забыли, что собирались пойти на бой быков». Я ответил, что помню об этом, но должен написать письмо моей дорогой маленькой жене.

Поэтому я сказал, что никуда не пойду. Мы немножко поспорили, но он убедил меня, сказав, что написать я могу позднее. Мы пошли на бой быков. Какой ужас! Я не буду тебе описывать всего, потому что ты будешь испытывать такое же чувство омерзения, какое испытал я и которое явилось причиной третьего сегодняшнего приступа. Ни аспирин, ни электрическая подушка, ни другие средства не помогли. Я страдал в течение двух часов. Когда я почувствовал, что могу поворачивать голову, то встал и подумал, что если я буду писать тебе, мне будет легче. И на самом деле, я чувствую себя лучше. Смогу ли я найти слова, чтобы ответить на твои милые письма? Боюсь, что нет, но постараюсь описать все, что чувствую. После такого письма я люблю тебя еще больше, чем раньше, дорогая. Я никогда еще не слышал ни от кого таких ласковых слов и выражений, обращенных ко мне, и очень сожалею, что не могу сказать тебе еще больше ласковых и нежных слов. Мне не хватает английских слов, но я стремлюсь своими делами показать, как люблю тебя. Я люблю тебя с того момента, как увидел в первый раз. Я безумно люблю тебя! Дорогая моя, я никому не позволю огорчать тебя и прошу меня простить, если иногда бываю несколько вспыльчив. Сохрани анонимное письмо и не обращай на него никакого внимания. Этот старик — твой отец — сумасшедший! Мне жаль его, и я надеюсь, что когда-нибудь он придет в себя и вспомнит о своей семье.

Бесконечно любящий, навсегда твой Рико.

17 октября Карузо пел в театре «Эсперанца» шестой спектакль. Это была «Марта».

Мехико
18 октября 1919 года
17 часов

Моя любимая Дора!

...Я отправился в театр в очень плохом состоянии. Там попробовал голос и поразился, как ярко он звучал. Я немного успокоился, но голова продолжала болеть. Начался спектакль, и я, сидя в уборной, слушал первую сцену. Никто не знал своей партии. Ты, должно быть, помнишь, что я не был на генеральной репетиции и поэтому ею для меня являлся сам спектакль. Сопрано и меццо очень часто ошибались, и это нервировало меня, потому что я думал о дуэтах, терцетах и квартетах. Во второй сцене на базарной площади хор сильно фальшивил. Я вышел на сцену с баритоном, который запел очень фальшиво. Публика была к нему снисходительна, потому что это старый певец. Я начал

петь «larghetto» и с удивлением заметил, что голос звучит тускло. Опыт позволил мне спеть хорошо, и публика долго аплодировала после моего соло и ансамбля. Во втором акте было много ошибок, фальшивых нот и испорченных мизансцен. Вообрази себе, что у Марты не было цветов, хотя я и предупредил ее об этом. Она не поняла меня. Я заметил цветы у нее на шляпе и сказал ей, чтобы она взяла один из них. Никакой реакции!! В тот момент, когда я должен был взять у нее цветок, я сорвал его со шляпы, на что публика реагировала смехом. После отрывка «Последняя роза лета» начиналась самая интересная часть дуэта и в этот момент на сцену совершенно неожиданно вышли Нэнси и Пламкет. Не растерявшись, я изменил текст и вместо того, чтобы петь Марте, пропел им, давая понять, что им еще рано выходить. Они удалились. Мы спокойно закончили дуэт, после которого зал разразился бурей аплодисментов. Меня долго вызывали, но я ушел к себе в уборную. Наступила очередь серенады. Я спел «Dormi pur ma il mio riposo» от всей души, и все расчувствовались. После окончания акта занавес поднимался шесть раз. Наступил третий акт, в котором я пою романс. Дорогая моя, не могу понять, откуда у меня появился такой голос?! Я никогда не пел эту арию так хорошо. После нее публика совершенно сошла с ума. Крики и аплодисменты длились двадцать минут. Требовали биса, но я не стал бисировать. Наступила очередь concertato, где есть известная фраза «Marta, a te perdonno Iddio» («Марта, тебя Господь простит»). Я спел ее так сильно, что публика и актеры плакали и восхищенно аплодировали. В антракте моя уборная оказалась набита людьми, глаза которых были полны слез. Один так расчувствовался, что ему пришлось оказывать помощь. Некоторые целовали мне руки. Я никогда раньше не пел так, как в этот раз. Контакт со слушателями был полный. Наверное, в тот момент моя Дора молилась за меня. Я сразу же решил послать тебе телеграмму и продиктовал ее Дзирато. На словах «...я пел превосходно, несмотря на головную боль...», Дзирато расплакался. Он был взволнован успехом и моими страданиями. Я поднял его, так как он стоял на коленях. «Простите меня. Я так взволнован», — сказал он и пошел отсылать телеграмму. Последний акт прошел хорошо. Когда я садился в машину, меня окружила толпа. Мужчины пожимали мне руку, а женщины целовали. Приехав домой и скромно поужинав, я лег спать. Я уснул, произнося твое имя.

Спокойной ночи. До завтра. Всегда твой Рико.

Мехико
Воскресенье, 19 октября 1919 года

13 часов

Моя дорогая Дора!

Мне так и не стало легче после того, как я написал тебе. Боль сильно беспокоит меня, и сегодня утром я думал, что больше не выдержу. Вот уже три дня, как я страдаю и ничто не помогает мне. Представь себе, в каком состоянии я пойду в два часа петь «Самсона». Еле дышу, в горле комок, все нервы напряжены. В темени как будто что-то постоянно горит. Веки тяжелые. Нет никакого желания делать что-либо. Боже мой, что же делать? Что за наказанье!

Не хочу больше надоедать тебе моими горестями.

Вечно твой Рико.

19 октября он пел Самсона на арене «Торео». Он очень плохо чувствовал себя и в телеграмме писал, что когда выходил на сцену, то молил, чтобы разразилась гроза. Но небо было совершенно чистым. Он вышел петь, даже не распевшись. К его большому удивлению, «все прошло хорошо».

Мехико

Понедельник, 20 октября 1919 года

16 часов

Моя дорогая Дора!

Каждую минуту я считаю оставшиеся дни. Еще три недели, и я навсегда буду с тобой.

...Твое письмо сразу же принесло мне облегчение. Я поднялся наверх, где принял ванну и отлично пообедал. Пунцо приготовил хороший обед. Со мной обедали импресарио и Далила. Они просили меня спеть в концерте на следующей неделе. Они не объяснили, что это будет за концерт, и я ответил неопределенно. Как поживает наша Пушина? Не беспокоит ли тебя? Ты придумала имя? Что ты думаешь об именах: Фьора, Флора, Флорина, Флориана, Эрминлинда? У нас есть время, чтобы выбрать имя, если тебе не нравятся эти. Прощаюсь с тобой, потому что меня ждут внизу. Нежно обнимаю. Твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико

21 октября 1919 года

20 часов

Моя Дора!

Сегодня, проснувшись, привел себя в порядок и вышел прогуляться. Двое каких-то джентльменов буквально силой затащили меня к себе в машину и повезли кататься.

В двенадцать часов я пошел к парикмахеру, а в два был уже

дома. Во время ланча за столом сидело восемь человек. Нас четверо и четверо джентльменов, пригласивших меня смотреть табачную факторию... В восемь часов я вернулся и нашел твое письмо. Почему ты не пишешь «целую»?

Я так люблю тебя, дорогая. Целую. До завтра. Доброй ночи. Твой Рико.

Букарелли, 85, Мехико
22 октября 1919 года 19.30

Моя милая Дора!

Пословица говорит, что хороший день начинается с хорошего утра. Верно и обратное. Плохо начавшийся день так же плохо кончается. В половине десятого мы отправились в театр, где была приготовлена ложа, убранная цветами. Спектакль начался, и в момент наибольшего успеха артистка-бенефициантка поблагодарила публику и предложила приветствовать великого певца - Карузо. Мне устроили грандиозную овацию. Я был вынужден подняться и поблагодарить публику. Мы оставались там до половины двенадцатого, после чего пошли домой. Ни музыкально, ни актерски ничего интересного не было. Плохие голоса, заурядные испанские танцы. Я переживал по двум причинам. Во-первых, болела голова, а во-вторых, жаль потерянного времени, которое я мог бы уделить тебе. Ты тоже была бы разочарована, если б оказалась там. В два часа я пришел в театр, где состоялась репетиция «Паяцев». В четыре часа обедал дома. Во время обедая разговаривал с одним джентльменом, который собирался писать статью обо мне. В пять часов я отправился к приятелю мистера Стефанини, чтобы прослушать его сестру и высказать свое мнение. Получилось нехорошо, потому что я сказал правду о голосе девушки. Она горько разрыдалась, поставив в очень затруднительное положение меня и всех присутствующих. Не представляю, как я вышел из этого положения, но все-таки вышел. Представь себе! Она хотела, чтобы я дал концерт в ее пользу, дабы она могла заплатить за учебу. Я чуть не подрался с ее братом, когда тот вдруг рассмеялся мне в лицо, выходя из дома. Я не понял, когда он сказал: «Мистер Карузо, вы не представляете, как я вам обязан», — но он объяснил, что теперь она не будет считать себя исключительно одаренной. Мы посмеялись и разошлись по домам. Дома я нашел два твоих послания, касающихся анонимных писем. Я пришел в ярость и проклинал этого собачьего сына, который омрачает наше счастье. Это должно быть тот же самый человек, который и раньше присылал нам анонимные письма. Кто-то занимается сочинением нелепостей, чтобы причинить нам боль и поссорить

нас. Ерунда. Мы должны радоваться, что у нас много врагов. Это убеждает нас в том, что другие завидуют нашему положению и счастью. Конечно, все это сначала неприятно, но если подумать, почему люди так поступают, мы должны радоваться и смеяться над ними.

Не задумывайся над расходами для нашей дорогой Путины, которая свяжет нашу жизнь крепкой цепью. Малышу надо больше, чем взрослому. Она будет прелестна, и наше счастье будет еще большим. Твои письма, дорогая, очень интересны и милы. Со своими ошибками ты просто восхитительна. Ты находишься в том же положении, что и твой Рико. Он не знает английского языка, но старается, чтобы его поняли. Ты понимаешь меня? Да. Ты знаешь, почему? Потому что мы созданы друг для друга. Дети в глазах матери всегда прекрасны, и ты убедишься в этом, даже если другим она будет казаться безобразной.

Скучаю ли я по тебе? О! Восхитительное создание!

Моя любовь принадлежит только тебе. Рико.

Мехико, Букарелли, 85
23 октября 1919 года 17 часов

Моя дорогая Дора!

Когда я читаю твои письма, мое сердце бешено колотится, и кажется, что оно готово бежать к тебе, чтобы рассказать о своей любви. Но оно заперто и не может сделать этого, и я чувствую, как оно плачет и тоскует. Я сделаю все возможное, чтобы наша жизнь казалась нам раем. Мимми прислал письмо, но очень сухое. Это меня очень огорчает. Как ни печально, но должен прощаться с тобой, чтобы что-нибудь сделать со своей головой. Немного погодя я отправлю тебе телеграмму. Знаешь, сколько я уже заплатил за телеграммы? Тысячу песо, что составляет пятьсот долларов, а если учесть и твои телеграммы, получается сумма в тысячу долларов. Могут сказать «расточительство», но я так не считаю. Я заплатил бы много тысяч за то, чтобы быть сейчас с тобой. Знаешь, что я сделал, чтобы скорее приехать к тебе? Я заказал специальный вагон, который довезет меня без остановок от Ларедо до Нью-Йорка, что позволит выиграть целый день.

Миллион раз целую мою любимую. Рико.

23 октября в театре «Эсперанца» он пел в «Паяцах».

Мехико, 25 октября 1919 года 18 часов

Моя дорогая Дора!

Очень сожалею, что не смог написать тебе вчера. Начну с описания «Паяцев». В восемь часов я подъехал к театру и увидел,

что фасад его убран цветами. Я прошел через служебный вход и вдруг заметил, что на моем пути в уборную в четыре ря-

да выстроились служащие театра, которые приветствовали меня аплодисментами. Двери, ведущая в мою уборную и противоположная, были украшены моими портретами, пальмовыми ветвями и цветами. Флаги, цветы, картины — все это было очень торжественно. Все улыбались, аплодировали и говорили: «Viva il nostro caro e amato tenore!» («Да здравствует наш дорогой и любимый тенор!»). Хористы, рабочие сцены и статисты были празднично одеты. Казалось, что приготовились встречать короля. Перед «Паяцами» был небольшой концерт, но участвовавшие в нем пели откровенно плохо. Все ждали начала оперы. Мы начали, и, как всегда, публика не понимала моих фраз, но была довольна. Я же не был удовлетворен, потому что чувствовал, что между мной и слушателями нет полного контакта. Думаю, это произошло, во-первых, потому, что все особенно ожидали «Паяцев» и платили за билеты в три раза больше обычного. Во-вторых, потому, что концерт оказался так плох, а, в-третьих, потому, что меня раздражал ослик, впряженный в повозку. Так или иначе, но мы добрались до конца первого акта. Как я спел, не знаю, знаю только, что меня засыпали цветами, летевшими из лож, партера и галереи, и что в зале стоял невообразимый шум. После пятого вызова я наконец стал понимать, что происходит: шум производила публика. Мужчины и женщины совершенно сошли с ума, стоя приветствовали меня и оглушительно кричали. Меня вызывали очень много раз. Я плохо почувствовал себя, видимо, оттого, что шум был очень силен и я был растроган приемом. Знаешь, о чем я тогда думал и кого искал в зале? Тебя. А тебя не было! Если бы ты сидела в зале, то, наверное, плакала бы от радости.

Мимми я написал в последнем письме то же, что и ты ему написала. Кажется, он не хочет учиться. Тем хуже для него. Я сделал все, что мог, и не моя вина, если он станет ослом. Много ли сюрпризов ты мне приготовила? Надеюсь, что да.

Я люблю тебя. Доброй ночи. Рико.

26 октября на сцене, построенной на арене цирка, Энрико пел в «Аиде».

Мехико, 26 октября 1919 года 20.30

Моя дорогая Дора!

Пишу тебе после спектакля «Аида», прошедшего с огромным успехом. Опишу все по порядку. Сегодня прекрасный день и солнце очень сильно грело. Сцена была буквально залита

солнцем. Лучи ослепляли, и было жарко, как в шведской бане

Пришлось зажмуриться, и поэтому я не видел дирижера. Бас (хуже любого хориста!) запел голосом, похожим на лай старого пса. Все это меня нервировало. Я начал петь «Celeste Aida» («Милая Аида») с закрытыми глазами. В таком состоянии невозможно петь хорошо. Я пел без подъема и лишь случайно допел арию до конца без происшествий. Мне аплодировали, но публика поняла, что я могу спеть лучше, и аплодисменты были не очень горячими. Во второй картине публика также без особого энтузиазма принимала меня, хотя пел я хорошо. Кто-то сказал мне, что виноват в этом бас. Прошла сцена победы. Наступила очередь сцены у Нила. Я вдохновился и овладел публикой. Зрители неистовствовали и много раз вызывали меня. Я не в состоянии описать реакцию публики. Кричали так, что, думаю, многие остались без голоса.

До завтра. Люблю тебя всей душой. Рико.

Букарелли, 85, Мехико
27 октября 1919 года
10.30

Моя обожаемая Дора!

Сейчас я чувствую себя хорошо, потому что беседую с моей Дорой, которую зову каждую минуту. Бывает, что губы неожиданно для меня произносят: «Где ты, моя Дора?». Я никогда не отправляю тебе послания, не поцеловав его, а ты иногда забываешь сделать это.

Сейчас нам надо экономить. Ты снова рассердилась на своего отца? Богу угодно, чтобы он был таким, и мы должны повиноваться. Старик ужасен. Надо же иметь такой плохой характер. Он, наверное, никогда ни к кому не был добр. Мне кажется, он не задумывается над тем, что ему придется умирать. Мне жаль его.

Очень люблю тебя. Рико.

Букарелли, 85, Мехико
28 октября 1919 года 18 часов

Моя дорогая Дора!

В половине первого я отправился в итальянское консульство для получения визы. Произошла небольшая неувязка. Все учреждения здесь закрываются в час дня, и, прибыв в консульство с небольшим опозданием, я послал Дзирато узнать, примут ли нас, а сам остался ждать в машине. Скоро он вернулся и сказал, что консул ждет меня. Поднимаясь по лестнице, я встретил консула или вернее вице-консула, который довольно грубо

сказал, что уже второй час и учреждение закрыто. Я сразу же сообразил, что что-то произошло, и очень вежливо ответил этому маленькому зверьку (я называю его так, потому что он мал и безобразен): «Вы правы. Я приду днем. Точно в три». Дзирато нервничал. Он уже давно ведет себя странно, и я не понимаю, почему. Сам он говорит, что временами у него нет желания работать, и приписывает это изменчивости погоды. В три часа я вновь прибыл в консульство. Вице-консула нельзя было узнать — он стал мил и добр. Мы оба хотели объясниться, и он очень вежливо сказал, что не хотел регистрировать паспорт утром оттого, что человек, пришедший к нему (Дзирато), разговаривал очень громко и неучтиво. Я объяснил, что Дзирато объясняется подобным образом, поскольку он несколько глуховат, и все окончилось хорошо. Что же касается Дзирато, то, если он будет продолжать так вести себя, с ним придется расстаться, как это ни прискорбно. Впрочем, возможно, он изменится.

На этой неделе я буду уже у американской границы, и можешь представить волнение, с которым я ожидаю дня встречи с тобой. Знаешьлиты, что круглые сутки я зову тебя? Я говорю: «Дора, где ты?» Никто не отвечает. Я расстраиваюсь, но говорю себе: «Она дома, но я слышу рядом ее шаги». Через неделю нас будут разделять только три дня. Доброй ночи. Сиди спокойно в кресле и позволь мне стоять на коленях около тебя и говорить о моей любви.

Я люблю тебя. Рико.

28 октября он спел в концерте, доход от которого пошел в «Фонд Образования» города Мехико, а 30-го — в «Манон Леско» Пуччини. Его прощальное выступление состояло из третьего акта «Любовного напитка», третьего акта «Марты» и первого акта «Паяцев». После него он телеграфировал мне: «Каждая ария встречалась овацией, а после окончания публика устроила нечто совершенно невероятное. Присутствовало двадцать пять тысяч человек. Я счастлив, что побывал здесь, узнал эту страну и ее восторженный народ, который постоянно вызывал во мне творческое волнение».

А затем Энрико приехал. Это было чудесно. Так как мы писали обо всем каждый день, нам не надо было много рассказывать друг другу: мы начали жить с того момента, как встретились. Все, что говорил Энрико, касалось настоящего или будущего, но не прошлого. Я никогда не встречала людей с таким уникальным качеством. Ведь повторение того, что уже известно, часто раздражает. Он привез мне различные подарки: белье, драгоценности, веера и кружева. Мне все нравилось, и скоро мы

опять почувствовали себя так, как будто никогда не расставались. Фучито опять играл «Еврейку». Когда Энрико внезапно появлялся в дверях и говорил: «А! Ты здесь, моя Дора!», я чувствовала себя невыразимо счастливой и не находила слов, чтобы объяснить ему, что он значит для меня. Единственное, что я могла сказать:

— О, как бы я желала, чтобы ты был беден и пел не лучше, чем другие. Ты узнал бы тогда, как сильно я люблю тебя.

Глава 6

Энрико не отдыхал ни одного дня после возвращения из Мексики, но у него перестала болеть голова, он отлично чувствовал себя и был полон энергии. Перед сном он обычно просматривал клавир «Еврейки» — в другое время он этого не делал. Он говорил, что когда делает это перед сном, то учит свою партию в течение ночи. Каждое утро он репетировал эту оперу в «Метрополитен», так как должен был петь в ней через десять дней после открытия сезона. Он открывал сезон «Тоской».

Кроме репетиций он напевал пластинки в Кэмдене для компании «Victor». Эту работу он считал более трудной, чем выступления в опере, и терпеть ее не мог.

— Утром мой голос еще не разогрет, петь тяжело, — говорил он. Первые записи его голоса были сделаны не компанией «Victor». В 1896 году в Италии он записывался на восковых цилиндрах и аппарате для записи пластинок, присланном из Германии. Во время записи эта машина сломалась, и из Берлина прислали другую. В 1898 году он напел еще несколько пластинок для небольшой итальянской компании, которую потом поглотил «Victor». Первые его записи для «Victor» сделаны в 1903 году в Карнеги Холле, где оборудовали студию, и так как контракт не был заключен, он получал деньги наличными по чеку.

С того времени началась его дружба с мистером Кальвином Годдардом Чайлдом — главой этой компании.

Первые пластинки Карузо были:

«Vesti la giubba» — «Паяцы» Р. Леонкавалло (Ариозо Канио из 1-го акта),

«Celeste Aida» — «Аида» Д. Верди (Романс Радамеса из 1-го акта),

«Una furtiva lagrima» — «Любовный напиток» Г. Доницетти (Романс Неморино из 2-го акта),

«La donna ë mobile» — «Риголетто» Д.Верди (Песенка Герцога из 4-го акта),

«E lucevan le stelle» — «Тоска» Д. Пуччини (Ария Каварадосси из 3-го акта),

«Recondita armonia» — «Тоска» Д. Пуччини (Ария Каварадосси из 1-го акта),

«Le Reve» — «Манон» Ж. Массне (Грезы де Грие из 2-го акта),

«Siciliana» — «Сельская честь» П. Масканьи (Серенада Туридцу из 1-го акта),

«Di quella pira» — «Трубадур» Д. Верди (Стретта Манрико из 3-го акта).

Популярность этих пластинок обеспечила Энрико его первый контракт с фирмой «Victor». В студии в Кэмдене (в Нью-Джерси) он пел в небольшой квадратный рупор, соединенный со звукозаписывающей машиной. Оператор, управлявший машиной, находился за перегородкой. Он подавал сигналы через небольшое окошечко. Заходить за перегородку никому не разрешалось, так как техника записи составляла тайну компании. Музыканты, аккомпанировавшие Энрико, сидели позади него на табуретах разной высоты. Это позволяло соизмерять силу звучания певца и оркестра, так как усилителей в то время не было. Он начинал с того, что пропевал вещь с оркестром. Затем указывал, что нужно изменить, и пел снова.

— Хорошо, теперь начнем, — говорил он и подавал знак оператору.

Энрико сразу же прослушивал запись и обсуждал ее с мистером Чайлдом. Хорошо ли записано? Понравится ли публике? Запись сразу же портилась, потому что была восковой, и приходилось петь еще раз. Иногда скрипка звучала слишком громко, и тогда скрипач пересаживался подальше. Если Энрико не удовлетворяло звучание голоса, он настаивал на том, чтобы произвести новую запись. В конце концов, часа через два, достигался желаемый результат. Делалась медная матрица, с помощью которой штамповались пластинки. Он не записывал больше двух-трех вещей за один раз и, как бы ни торопился домой, не спешил и не удовлетворялся тем, что можно было улучшить. Через два дня мистер Чайлд приезжал в Нью-Йорк и Энрико еще раз прослушивал записи. Он подвергал их самой тщательной проверке. Они спорили из-за каждой ноты, и если не приходили к соглашению, Энрико возвращался в Кэмден, чтобы начать все сначала. Однажды он много раз пропел соло «Cujus animam» («Чьей души») из «Stabat Mater» Д. Россини, чтобы добиться удовлетворившей его записи, после чего подарил измученному трубачу жемчужную булавку, сняв ее с галстука.

Вы заслужили награду, — сказал он, — я думал, вы не выдержите до конца.

Хотя Энрико не говорил, что отдает предпочтение какой-нибудь опере или романсу, он выделял некоторые из своих записей. Из неаполитанских песен он больше всего любил «A vuchella» («Милые уста») Ф.П.Тости и часто пел ее в концертах на бис. Из арий он предпочитал «Rachel, quand du Seigneur... « («Рахиль, когда Господь...» — ария Элеазара) из «Еврейки» Ж.Ф. Галеви, а из дуэтов — «Solenne in quest'ora» («Торжественно в час сей...») из «Силы судьбы», записанный с А. Скотти.

Дома он часто слушал пластинку с записью песни «Love me or

not» («Ты любишь меня или нет»). Он пел ее по-английски и называл «песней нашей любви». Чтобы научить Энрико правильно произносить текст, я читала ему его по слогам, выговаривая их медленно и отчетливо. Когда он усвоил произношение гласных и согласных, то записал этот текст своим превосходным почерком. Он любил все, что относилось к песне «Over There» («В дальний путь»): слова, музыку, стиль, самого Кохана.

Однажды Джордж М. Кохан обедал с нами. Он ел сухое печенье, пил молоко и рассказывал невероятно смешные случаи из своей жизни мягким, меланхоличным голосом. Энрико нередко слушал записи джазовой музыки.

— Это забавно и интересно, — говорил он.

Он любил песни Виктора Херберта и самого автора.

— В них есть мелодия, — говорил он, — а это самое главное в любой музыке. Величественное «Largo» Генделя глубоко волновало его. Простые песенки, вроде «Сатрапе е sera» («Вечерние колокола»), как бы переносили его домой - в Италию. Ему казалось, что он снова слышит звон монастырского колокола в тихий летний вечер. В качестве свадебного подарка компания «Victor» прислала нам шкаф-граммофон, покрытый черным с золотом китайским лаком. К внутренней стороне его крышки была прикреплена золотая пластинка «La donna e mobile» (Песенка Герцога из «Риголетто» Д. Верди) — первая вещь, напетая для компании в 1903 году. К январю 1920 года гонорар, выплаченный компанией Энрико, составил сумму 1 825 000 долларов.

Была середина декабря — время, когда предстояло родиться нашему ребенку. Мы перебрали сотни имен, но лишь в ночь накануне рождения девочки Энрико внезапно решил, что ее нужно назвать Глорией.

— Потому что она будет венцом моей славы, — сказал он.

Она родилась в половине одиннадцатого ночи 18 декабря 1919 года. Первые слова, услышанные мной, были:

— Дорогая, это маленькая девочка.

Держа ее на руках, Энрико сказал, что кроме имени Глория, она еще будет зваться Грацианной в честь его матери, которую звали Анной, Америгой, потому что родилась в Америке, Викторией, поскольку мы выиграли войну, и Марией в честь девы Марии.

Энрико заказал шампанское для всех служащих отеля и дал на кончике мизинца капельку Глории. Он был бесконечно счастлив. На следующий вечер, когда он пел в «Любовном напитке», с галерки кричали: «Viva papa!» («Да здравствует папа!»). Месяц спустя как-то утром мы зашли в детскую

посмотреть, как Нэнни купает и одевает ребенка.

— Вы не пеленаете ее? — спросил Энрико.

— Нет, она носит платьица.

— Забавно. У нас в Италии детей пеленают. Тебе это не нравится, Пушина?

Он поднял девочку и, поднеся к окну, стал рассматривать ее открытый рот и зев.

— Посмотри, Дора. У нее все, как у меня. Может быть, она будет петь, а может быть, нет, но у нее такое же горло, как у меня.

Я смотрела на их лица, освещенные солнцем. Они были так похожи, что я чуть не заплакала.

«Метрополитен Опера» давала раз в две недели по средам спектакли в Филадельфии. Для поездки выделялся специальный поезд. Когда в спектаклях выступал Карузо, мы ездили вместе с ним. Во время поездки туда Энрико молчал, но на обратном пути в Нью-Йорк веселился и заражал всех своим весельем. Мы брали с собой целую корзину с куриными и телячьими котлетами, закусками, фруктами, сыром, свежими французскими булочками и вином. Энрико обычно приглашал поужинать близких друзей — Скотти, Амато, Де Луку, Ротье, Дидура и рассказывал им о своей юности. Он вспоминал дни, когда ему приходилось петь по два спектакля по воскресеньям в театре «Меркаданте» в Неаполе, летний сезон в Салерно, где ему так хотелось есть, что во время антрактов он спускал из окна уборной на веревке корзину, которую продавец наполнял бутербродами. Рассказывал об одном спектакле в Брюсселе, когда толпа университетских студентов-меломанов, не попавших в театр, скандировала его имя, собравшись под окнами уборной, и как он спел им из окна арию перед тем, как выйти на сцену. Он рассказал нам о том, как впервые пел в театре маленького городка под Неаполем, когда ему было девятнадцать лет. Не ожидая выступления в тот вечер, он выпил слишком много вина, а потом его с позором выгнали со сцены. Он вернулся домой, уверенный, что его карьера закончилась, и был так расстроен, что помышлял о самоубийстве. Но на следующий вечер публике так не понравился другой тенор, что все потребовали вернуть «маленького пьянчугу». Послали за Энрико, который обрел тогда свой первый успех. На следующее утро, когда к нему приехали фотографы, чтобы снять многообещающего молодого певца, они нашли его голым в постели, так как его единственная рубашка находилась в стирке. Он закутался в простыню и позировал с гордым и суровым видом. Это первый опубликованный снимок Карузо.

Энрико любил рассказывать всевозможные истории, но не любил повторений и сплетен. Он заявлял, что не следует зря

терять время: если не о чем говорить, лучше молчать. Он не любил, когда с ним обращались как со знаменитостью. Однажды очень известная в Филадельфии дама позвонила нам, прося разрешение дать бал в мою честь. Я никогда не бывала на балах, а тем более никто не давал их в мою честь. Но прежде чем я успела ответить, Энрико сказал Дзирато:

— Неужели она хочет ради этого обеспокоить нас? Разве она не знает, что я занят? Скажи ей, что мы не любим бывать в обществе, и она все поймет. Она хочет дать бал не ради нас, а для себя.

Я была немного разочарована, но ничего не сказала. Энрико посмотрел на меня.

— Ты расстроена, Дора? Я, наверное, эгоист.

Никакое общество, как бы ни было оно великолепно, не доставляло мне такой радости, как присутствие Энрико.

Энрико был артистом, у которого не хватало времени самому наслаждаться музыкой. Мы никогда не бывали с ним вместе и опере, и я не уверена, что он слышал хотя бы одну из них в течение двадцати лет, кроме тех, в которых пел сам. Он никогда не слушал пение своих коллег, стоя за кулисами. Мы никогда не были с ним на симфонических концертах. Однажды мы пошли на сольный концерт — дебют Тито Скипы, исполнявшего неаполитанские песни. Мы приехали поздно, сели в конце зала, чтобы нас никто не заметил, и уехали через пятнадцать минут.

— Зачем же мы приезжали? — спросила я.

— Потому что он тенор. Но теперь все в порядке, — загадочно ответил он.

Энрико не играл на рояле. Он мог лишь взять несколько аккордов, но никогда не сожалел по этому поводу. Он все равно не смог бы аккомпанировать себе, так как всегда концентрировал свое внимание на чем-нибудь одном. Ему никогда не аккомпанировали любители, и он не пел для забавы в кругу знакомых. Контракт с «Метрополитен» запрещал ему петь где-либо без особого разрешения. Я знаю только один случай, когда он нарушил это правило. Мы были на эстрадном представлении, которое давалось в пользу солдат и матросов в «Манхэттен Опера». Думая, что нас никто не видит, мы спокойно сидели в служебной ложе, как вдруг какой-то юноша, сидевший в первом ряду, воскликнул: «Здесь Карузо!». Представление остановилось, все громко кричали и аплодировали. К нам подошел администратор:

— Мистер Карузо, вас просят спеть «Over There».

Энрико, долго не раздумывая, поднялся и пошел на сцену.

Когда он кончил петь, его долго не отпускали. Но он

решительно отказался спеть еще что-нибудь.

— Нам придется немедленно уйти, прошептал он, — я должен сказать Гатти, что нарушил контракт.

Я ждала его у входа, пока он разговаривал с Гатти. Он вышел, улыбаясь.

— Гатти простил меня.

Единственным человеком, которому Энрико давал уроки вокала, был Риккардо (Ричард) Мартин. Карузо не любил преподавать и не считал, что имеет соответствующие способности. Он всегда говорил:

— Одно дело петь, другое - преподавать. Как я могу объяснить, каким образом я пою? Я держу грудь в таком положении, живот — в таком и пою.

Он никогда не спорил, когда ему толковали про «метод Карузо», объясняя это тем, что следует быть вежливым. Однажды, после разговора с серьезным вокальным педагогом, он сказал:

— Он знает больше, чем я. Обучая пению, он берет зонтик. Когда он открывает его, ученики поют: «ееее-ееее-аааааа», а когда он его медленно закрывает: «ааа-ааа-ееееее».

Энрико говорил мне, что во время пения никогда не думает о положении гортани и языка. Он считал слово самым важным компонентом пения.

— Я думаю о словах арии, а не о музыке, потому что либретто служит основанием для написания музыки композитором, как фундамент для здания. Когда люди думают, что пение не представляет для меня никакого труда, они ошибаются. Когда я пою и играю, то выкладываюсь изо всех сил. Но я не должен показывать этого труда. В этом-то и заключается мастерство.

Его лицо и голова были словно специально сконструированы для пения. Глубокая и высокая небная полость, широкие скулы, большие ровные зубы, крупный лоб с широко посаженными глазами создавали условия для наилучшего звукового резонанса. Он мог держать во рту яйцо, и никто не догадался бы об этом. Грудная клетка его была огромной, и потенциал ее расширения составлял 9 дюймов (20 см).

— Дышит ли он когда-нибудь? — спрашивали иногда, когда он пел целые фразы на одном дыхании, заканчивая их на верхней ноте.

Но его вокальные связки сами по себе были не более примечательны, чем у большинства певцов. Когда Карузо спрашивали, чем должен обладать певец, он отвечал:

— У него должны быть: большая грудная клетка, большой рот, 90% памяти, 10% ума, огромная трудоспособность и кое- что

в сердце.

Его память была феноменальной. Он знал шестьдесят семь партий и более пятисот отдельных вещей, к которым постоянно прибавлял все новые и новые. С возрастом голос его становился мощнее и богаче, появилось законченное мастерство, что позволяло ему отлично справляться с самыми сильными драматическими партиями (Самсон, Элеазар, Иоанн Лейденский), но в то же время он был великолепен и в лирических операх — таких, как «Марта» и «Любовный напиток».

Он пел на французском, итальянском, испанском и английском языках, но никогда не пел по-немецки — даже когда его просил сам кайзер. По этому поводу он заявлял представителям берлинской прессы:

— Итальянский язык — самый удобный для пения. В нем пять чистых гласных и очень мало согласных звуков. Я не могу петь по-немецки, потому что в этом языке часто встречаются согласные, а специфически острая манера произношения лишает мой голос блеска и способности выразительно произносить фразы. Иностранные певцы, которые поют на немецком языке, обладают лучшей техникой, чем я. В этом все дело.

Когда его однажды спросили, в каком возрасте голос певца звучит лучше всего, он ответил:

— О женском голосе ничего не могу сказать, но для тенора, я думаю, лучший возраст — от тридцати до сорока лет. До тридцати у певца еще нет ни мастерства, ни настоящей души. После тридцати у него может быть и то, и другое, и, если повезет, хороший голос. Когда я был десятилетним мальчиком, то пел в Италии и пел хорошо. Когда мне исполнилось двадцать, я пел лучше. Когда же мне стало тридцать, у меня были голос, опыт, мастерство и я начал петь еще лучше.

Днем своего сценического дебюта Энрико считал 16 ноября 1894 года, когда он спел в театре «Нуово» в Неаполе в опере «Друг Франческо», хотя до этого выступал в небольших театрах в окрестностях этого города. Ему был тогда 21 год. В тот вечер он получил 80 лир и его пригласили спеть в четырех спектаклях. Опера не имела успеха, но молодого тенора приняли тепло. Через двадцать пять лет — 22 марта 1919 года — праздновался его юбилей — 550-е выступление на сцене «Метрополитен». Бедный Энрико очень волновался в тот вечер, так как должен был петь по одному акту из таких разнообразных по характеру опер, как «Паяцы», «Любовный напиток» и «Пророк». Собираясь в театр, он сказал:

— Все будут довольны сегодня, кроме меня.

После представления я пошла за кулисы. Поднялся занавес.

Энрико уже переоделся и сидел на позолоченном стуле у самой рампы, окруженный певцами и служащими «Метрополитен». Он со смущенным видом выслушал приветственные речи, ни одному слову из которых, если они не касались его голоса, не верил.

В глубине сцены стоял большой стол, заставленный подарками. Среди них были серебряные вазы от дирекции «Метрополитен» и оркестрантов, серебряный декоративный поднос от компании «Victor», золотая медаль от Гатти и много других подношений. От имени 5,5-миллионного населения Нью-Йорка ему преподнесли флаг города. Он принял его так спокойно, как будто выпил стакан воды, и сказал небольшую речь. Я подумала, какие чувства испытывал бы он, если бы в этот миг вспомнил мальчугана, который за несколько лир переписывал ноты при свете уличных фонарей на улицах Неаполя.

После юбилея наш дом оказался переполнен подарками. Энрико беспомощно разводил руками, глядя на заставленные столы и стулья.

— Что мы будем делать со всем этим, Дора?

Он радовался каждому подношению в отдельности, но все вместе они приводили его в замешательство. Громадный ковер ручной работы из черной шерсти с огромными вытканными красными цветами занимал половину салона. Всевозможные вазы и картины стояли между многочисленными букетами роз. Среди подарков было около дюжины тростей и зонтиков с золотыми, серебряными и костяными ручками, ониксовые запонки с крупными бриллиантами, одиннадцать старинных часов восемнадцатого века, украшенных драгоценными камнями, наши портреты, вышитые на шелке. Было множество наборов для игры в покер и шахматы, в которые мы никогда не играли, сигары «Corona», которые он никогда не курил, бесчисленное разнообразие золотых карандашей и ручек, золотых портсигаров, ножей для разрезания бумаги, множество адресов, подписанных сотнями музыкантов. В центре стола на огромном серебряном подносе, окруженном букетами роз, связанных красными, белыми, голубыми и зелеными (цвета Италии и Америки) лентами, лежала огромная кипа телеграмм.

— Куда мы все это денем? — спросил Энрико. — Ну, да ладно. Публика меня любит, а для «Метрополитен» это неплохая реклама. А теперь я хочу спать.

Глава 7

Энрико был, с одной стороны, живым человеком, а с другой — гением. Я всегда старалась понять, какая из этих сторон руководила им в каждом отдельном случае. Это не всегда мне удавалось, а однажды привело к очень неприятному событию. Его ревность поражала меня. Когда мы поженились, он предупредил меня, чтобы в его отсутствии я ни с кем не встречалась.

— Даже с друзьями моего брата? — спросила я.

— Даже, — ответил он, — потому что тебя могут с ними увидеть люди, не знающие, кто они.

Я выполнила его желание, потому что оно не показалось мне необоснованным, а, кроме того, была рада сделать ему приятное.

Весной, еще до нашего отплытия в Италию, вместе с труппой «Метрополитен» Энрико выезжал на гастроли. Я была вместе с ним. Однажды вечером, после первого спектакля с участием Энрико, двое его старых приятелей пригласили нас пообедать и потанцевать. Вечер был очень хороший и теплый, ярко сияли звезды, и столы стояли на открытом воздухе под деревьями, на которых висели фонари. Мы сидели за столом с хозяином дома Джимми, крупным, толстым и веселым мужчиной, и его женой Фанни Мей, славной и такой же полной и веселой, как и ее муж, дамой. Я заметила, что оба они смотрели на Энрико с обожанием. После обеда, когда начал играть оркестр, меня внезапно охватило чувство робости и смущения.

Что я здесь делаю, — подумала я, — среди людей, которых яникогда раньше не видела, которые рассматривают меня и улыбаются мне только потому, что я жена величайшего тенора мира?

В этот момент Энрико пригласил меня танцевать. Я посмотрела на него и... отказалась.

— Хорошо, потанцуем потом, — сказал он и пригласил Фанни Мей.

Я наблюдала за ними, но когда к ним присоединились другие пары, смущение покинуло меня и я снова стала счастливой и спокойной. Хозяин дома пригласил меня, и я согласилась. Энрико увидел нас и сказал, что хочет поговорить со мной.

— Мы сейчас же пойдем домой.

— Но мы обидим хозяина.

— Это не имеет значения. Я так решил.

Я была озадачена. Когда мы вернулись в отель, он стал изливать свое недовольство:

— Почему ты стала танцевать с этим толстяком после того,

как отказала мне?

— Но Энрико, он же твой друг.

— Он мне не друг, раз делает такие вещи. У меня нет друзей. А кто же я? Тебя больше интересует хозяин дома, чем я.

Он начал кричать. Я старалась все объяснить, но с каждым словом его гнев возрастал.

— Дело в том, что тебе неприятно быть женой Карузо, — воскликнул он.

Я залилась слезами. Он сразу же утих. Глаза его перестали гореть гневом и наполнились слезами.

— Что я говорю? Что делаю? Я заставил тебя страдать!! — с этими словами он быстро подошел к стене и стал биться об нее головой. По его лицу потекли кровь и слезы. Я умоляла его успокоиться, но безрезультатно. Он зарыдал:

— Прости, прости меня, Дора!

Я умыла его, помогла лечь в постель и, сидя рядом с ним, успокаивала его, пока он не уснул. Тогда я поняла, что в этой сцене ревности проявился Карузо-гений, которым руководила та же мощная сила, что сделала его величайшим артистом. Мы никогда больше не вспоминали об этом ужасном вечере.

Как-то позже он сказал мне:

— Я хотел бы, чтобы ты сильно потолстела, тогда никто не обращал бы на тебя внимания.

Сказав это, он тяжело вздохнул.

Каждый раз, когда Энрико приходил домой, он переодевался и, если никого не ждал, больше не надевал костюма. Он носил темно-красную, зеленую или синюю куртку с поясом, серые шелковые брюки и рубашки с мягкими воротниками. Когда мы поженились, я была поражена количеством и разнообразием его одежды и обуви. В одном из отделений его гардероба находилось 80 пар разной обуви, в другом - 50 костюмов. На мой вопрос, зачем ему столько одежды, он отвечал, что это нужно по двум причинам. Во-первых, это нравится ему, а во- вторых, — другим. Через несколько дней после свадьбы мой отец прислал мне сундучок, содержавший все то, что я оставила дома. Там было лишь несколько книг и картин, два платья и зимнее пальто. Энрико вошел в комнату в тот момент, когда я разбирала свои вещи. Он взял пальто в руки.

— У тебя есть что-нибудь потеплее, например, меховое пальто?

— Это хорошее и теплое пальто, — ответила я.

Он нежно сказал:

— У тебя будет все. А сегодня я хочу подарить тебе меховое пальто.

Днем мы пошли в магазин Джозефа на 5-й авеню. Я впервые попала в такое место. Мы вместе с хозяином уселись около небольшого помоста. Я была смущена, а Энрико спокоен, как обычно. Перед нами проходили манекенщицы в собольих, горностаевых, бобровых и других шубах. Нам показали множество муфт и шляпок.

— Что тебе больше всего понравилось?

— Боже мой. Это все великолепно. Я и во сне не видела ничего подобного.

Молескиновое (кротовое) пальто мне показалось меньше по размеру, чем другие, и, решив, что оно должно меньше стоить, я указала на него.

— Да. Оно и мне нравится, — сказал Энрико и повернулся к хозяину.

— Мы возьмем их все.

Так как я не разбиралась в вопросах моды, Энрико занимался подбором моего гардероба и даже присутствовал на примерках. Он начал с того, что заказал для меня 69 туалетов: 15 выходных платьев, 12 повседневных, 8 костюмов, 6 домашних комплектов, 12 вечерних накидок, 4 пеньюара и 12 пижам.

Поскольку я бывала в опере дважды в неделю, причем должна была каждый раз надевать новое платье, мои выходные туалеты менялись по нескольку раз за сезон. Целыми днями я разъезжала по магазинам и ателье. Я не могла выдерживать примерки больше часа. У меня кружилась голова от постоянных вращений, но портнихи были безжалостны и продолжали прикалывать булавки, что-то подрезать и задавать вопросы.

Как-то мне очень понравилась шляпа, в которой Энрико пел в «Риголетто». Тулья шляпы была сделана из красного вельвета, широкие поля отделаны синим сатином, а сбоку воткнуто белое страусовое перо. Примерно через месяц, когда я, выздоравливая после воспаления легких, еще находилась в постели, Энрико постучал в дверь и сказал:

— У меня есть подарок для тебя.

С ним вошли Марио и Энрикетта. У всех в руках были большие коробки. В них оказались шесть шляп разного цвета, подобных той, в которой он пел. Он хотел, чтобы я выходила в них на улицу, что я, конечно, и делала. Шляпы оказались мне не совсем к лицу, и я с трудом подбирала к ним платья. Энрико так же расточительно покупал драгоценности, тщательно просматривая все, предлагавшееся ему, чтобы выбрать именно то, что нужно. Через месяц большой ларец наполнился всякого рода драгоценностями. Они подбирались к туалетам и стали такой же простой принадлежностью к ним, как платки и перчатки. В стене

нашей спальни находился сейф, секрет замка которого знали только мы с Энрико. Там хранились драгоценности и мешочки с золотом «на непредвиденные обстоятельства». Собираясь в оперу, я выбирала украшения и помещала ларец обратно в сейф. Театр находился в трех кварталах от нас. В середине первого акта я нередко начинала вспоминать, закрыла ли я сейф. В таких случаях, когда Дзирато приходил, чтобы проводить меня за кулисы, я просила его сходить домой. Если сейф оказывался открытым, я возвращалась, чтобы закрыть его, беспокоясь в то же время, как бы Энрико не заметил моего отсутствия. Я чувствовала, что нехорошо ставить Дзирато в положение, которое могло бы оказаться неудобным, если бы что-нибудь исчезло.

Энрико был безжалостен к певцам, которые просили прослушать их, а без таких просьб не проходило и дня. Попадались хорошие голоса, но чаще случались плохие. Чаще всего прослушать их просили светские дамы. Я вспоминаю одну из них, которая намеревалась пропеть ему весь свой репертуар — даже после того, как Энрико сказал ей, что ее голос не годится для оперы.

— Но что же плохого в моем голосе? — домогалась она.

— Он слишком стерт, — откровенно сказал Энрико.

Однажды маркиза С. — восхитительно красивая женщина и ее муж пришли к нам. Энрико был знаком с ними еще в Италии. Она выступала в Европе как профессиональная певица, а муж аккомпанировал ей. Они собирались дать концерт в «Принсесс Тиэтр» для избранной публики. С. говорила, что уверена в успехе, если придет Карузо. Мы пришли и сели в первом ряду. Это был дневной концерт. Слушатели, преимущественно женщины, заволновались при виде Энрико. Многие, считая, что знакомы с ним, кивали ему и улыбались.

— Кто эти глупцы? - бормотал он.

Сцена была заставлена пальмами, там же находились рояль и высокий итальянский стул. Маркизу встретили аплодисментами. Одетая в черное бархатное платье, длинное и плотно облегавшее ее фигуру, она прошла к стулу и села. У нее были шелковистые черные волосы, обрамлявшие белое лицо, праксителевские нос и рот, большие голубые глаза. На коленях она держала муфту. Ее невысокого роста муж что-то шепнул ей и исчез за роялем. Затем она начала петь произведения Дебюсси. Слушатели сидели как загипнотизированные. Все, кроме Энрико. Он смотрел по сторонам и тер нос ручкой своей трости. После концерта ее муж встретил нас в фойе. Он весь дрожал от волнения.

— Пойдемте со мной, — сказал он, — ее ждет толпа, но она хочет видеть вас.

— Я иду домой, — ответил Энрико.

— Но...

— Я иду домой, — еще раз сказал Энрико и мимоходом добавил: — Приходите к нам обедать.

За обедом Энрико смеялся и говорил без умолку, не упоминая о концерте. Во время кофе маркиза не выдержала и спросила, какого он мнения о ее выступлении.

— Самого лучшего, — ответил Энрико, не задумываясь, — вы имели огромный успех.

— Но что вы можете сказать обо мне?

— Вы были очень эффектны - и... стул и... муфта и... все. Вы всем очень понравились.

— Ну, а голос, пение?

Энрико сразу изменился.

— Вы хотите знать мнение Карузо-артиста или Карузо-товарища?

Высоким от волнения голосом она ответила:

— Конечно, артиста.

— Хорошо, я скажу. Вы не должны петь, потому что не знаете, как это делается.

Она пришла в ярость.

— Как вы можете говорить такое? Я училась семь лет у Жана де Решке!!

— Значит, мадам, вы оба зря тратили время в течение этих семи лет. У вас нет голоса, и вы не умеете петь. Но вы будете ангажированы, потому что у вас превосходная внешность.

Она сразу же встала из-за стола и ушла. На следующий день к нам пришли миссис Бельмонт и миссис Реджинальд де Ковен. Они были на концерте и хотели знать мнение Энрико, чтобы в случае, если тот отзовется положительно, пригласить маркизу петь в их домах.

— Она очень эффектна и имела большой успех, — сказал Энрико, — вы не ошибетесь, если пригласите ее.

Гости сказали, что думают так же, и ушли.

— Видишь, Дора, она обеспечена работой. Но как она не могла понять, что я ничего не хотел говорить о концерте. Она заставила меня причинить ей боль, но в противном случае стала бы говорить всем, что я похвалил ее пение, а ведь могли найтись люди, разбирающиеся в пении, которые сказали бы, что Карузо глупец, который не может отличить хорошего голоса от плохого. Этого не может допустить мое профессиональное самолюбие. Когда настаивают, я всегда говорю правду.

Вокруг имени Карузо было создано много легенд, число которых все время увеличивалось. Некоторые из них были

фантастичны, иные правдивы, другие содержали лишь долю правды. Меня часто спрашивали, справедливы ли они, и я привожу здесь ответы на ряд таких вопросов.

Энрико имел рост 5 футов 9 дюймов (175 см) и весил 175 фунтов (79 кг). (Он был на полдюйма выше, чем я).

У него был кремовый цвет лица без румянца на щеках.

Волосы его были черными, жесткими и прямыми.

Он был плотного сложения, но не мускулист.

Его руки были большими и сильными, а ступни ног — широкими и короткими.

Он не мог бегать из-за дефекта ахиллесова сухожилия.

Он принимал ванну два раза в день.

В повседневной жизни он не применял пудры, только на сцене.

Он пользовался парфюмерией марки «Сагоп»; обходил все комнаты с пульверизатором, разбрызгивая духи.

После каждого спектакля он весил на три фунта (1.5 кг) меньше, чем до него.

В течение дня он никогда не отдыхал лежа.

Он не ездил верхом, не играл в гольф или теннис, не ходил много пешком и не занимался утренней гимнастикой.

Он никогда не учился управлять автомобилем.

Он не переедал.

Он никогда не съедал во время ланча 5 тарелок спагетти! Его ланч состоял из овощного супа с цыплячьим мясом и салата.

С любым блюдом он ел хлеб, но только корки.

Он не брал в рот шоколада и шоколадных конфет.

Он любил мороженое, особенно крем-брюле.

Любой зелени он предпочитал укроп.

Он не пил пиво, виски, молоко и чай, но выпивал в день 2-3 бутылки минеральной воды. Иногда он пил немного вина.

Он никогда не жевал жевательную резинку.

Он выкуривал в день две пачки египетских сигарет (всегда с мундштуком).

Он любил детей и собак.

В городе он не держал домашних животных.

На вилле в Синье ни одна птица не сидела в клетке.

В своих владениях он не позволял стрелять певчих птиц.

Ни зеркала, ни бокалы не раскалывались при звуках его голоса, как это утверждали.

Когда он хорошо чувствовал себя, то ложился спать в полночь и спал восемь часов.

Он не дебютировал в качестве баритона.

Он никогда не прибегал к услугам клаки, хотя был в хороших

отношениях с главой клаки «Метрополитен» — старым Сколом.

Он пел только в одном любительском спектакле. Это была «Сельская честь» — спектакль, состоявшийся в 1892 году в Неаполе.

Он всегда сохранял итальянское подданство.

Он предпочитал жизнь в Америке жизни в какой-либо другой стране.

Сильные головные боли, которые беспокоили Энрико три месяца тому назад в Мексике, с января снова стали докучать ему. Они не были ежедневными, но достаточно частыми, чтобы держать его нервы в постоянном напряжении. На беду в это время он должен был петь по утрам. Ему приходилось рано вставать, петь упражнения, приводить в порядок горло, надевать костюмы, которых он не любил. Однажды утром, когда ему предстояло петь в «Уолдорфе», он проснулся с сильнейшей головной болью. Вены на его висках вздулись, пульсация шейных артерий была так сильна, что голова дрожала. Он перепробовал десяток воротничков, прежде чем подобрал подходящий. В конце концов он сказал:

— Мне надо лечь.

Глаза его были воспалены и полузакрыты. Дзирато держал лед у запястья, но это не помогало.

Может, позвонить в дирекцию? — шепнула я Дзирато.

Он отрицательно покачал головой. Энрико немедленно поднялся.

— Идемте. Я должен петь.

Когда он вышел на сцену, на его лице не отражалось и тени страдания. Он спел всю программу и еще несколько вещей на бис. Наконец он сказал:

— Спасибо. Больше я не могу петь. Я не завтракал и поэтому голоден.

Это интимное заявление растрогало публику. Великий певец стал как бы близким знакомым каждого слушателя, я слышала, как, уходя, одна женщина сказана:

Не правда ли, он очарователен?

— Он так мил, и мне кажется, будто я его хорошо знаю, — ответила ее спутница.

Энрико искусно скрыл от публики свое плохое состояние, и никто ничего не заметил.

В конце апреля ему предстояло отправиться на два месяца на Кубу, чтобы петь в Гаване. Я не могла поехать с ним, потому что Глория была слишком мала для такого путешествия, а оставить ее одну мы не могли. Накануне его отъезда мы завтракали в казино в Центральном парке. Я обратила внимание на большой

открытый «Паккард» — прекрасный автомобиль серого цвета. После завтрака я ждала Энрико в парке, пока он расплачивался. Парк был очень красив в эту пору, и мы немного погуляли, прежде чем идти домой. У входа в наш отель стоял автомобиль.

— Посмотри, — сказала я, когда мы подошли к отелю, — это тот самый «Паккард», который я видела у казино.

Он твой, — сказал Энрико, — я купил его после завтрака.

12 тысяч долларов, предложенные Энрико владельцу машины, убедили того продать ее.

В день отъезда я вошла рано утром в студию и увидела там Энрико, державшего на коленях Глорию. Фучито играл на рояле, а Энрико отбивал такт рукой девочки.

— Я учу ее песне «О, мистер Пайпер» — о волшебной королеве.

Он начал вполголоса напевать. Глория была очень довольна.

Ты видишь, ей нравится голос отца.

Дочери исполнилось тогда три месяца.

Глава 8

После отъезда Энрико я вместе с Глорией, Нэнни, моим братом, его женой и детьми и всей прислугой переехала на лето в Истхемптон (Лонг-Айленд): Мы разместились в невысоком доме с большой студией на первом этаже. На втором этаже, рядом с моей спальней, находился кабинет Энрико, куда можно было попасть по лестнице прямо из сада. В этом прекрасном саду были разбиты огромные клумбы розовых цинний, а к небольшому озеру спускались ирисовые террасы. Через неделю после нашего переезда я была ошеломлена, прочтя в газетах, что «Никербокер-Отель» продан.

Когда Энрико сообщил мне по телеграфу, что надо делать, я немедленно выехала в Нью-Йорк. Муж очень расстроился.

Атланта
Штат Джорджия
27 апреля
Моя дорогая Дора!

Вчера вечером, когда я шел в ресторан поужинать, меня остановил хозяин отеля и сказал:

— «Никербокер-Отель» продан. Если вы не против, подумайте о предложении, сделанном вам много лет назад «Бил- тмор-Отелем».

Сначала я ничего не понял, но он показал мне газету, в которой сообщалось о продаже «Никербокер-Отеля» и превращении его в административное помещение. Можешь себе вообразить, как я после этого отдыхал. Не поужинав, я, очень расстроенный, пошел обратно, думая о тебе и о трудностях, с которыми тебе придется столкнуться. Как-нибудь зайди или напиши Бауману в «Билтмор-Отель» и сообщи, что Карузо номнит предложение, сделанное ему много лет назад. Тогда меня пригласили жить на восемнадцатом этаже бесплатно. Я отказался, так как не хотел жить, не платя ничего. Теперь же, если у нас будет неплохое помещение за меньшую плату, чем в «Никербокере», — это недурной вариант, так как отель удобно расположен, принимая во внимание интересы нашей дочурки.

Когда у Рейгана появилась мысль продать отель? Если он думал об этом еще до моего отъезда, с его стороны было жестоко молчать, когда я мог еще сам всем распорядиться и не заставлять тебя беспокоиться. Посылаю тебе и малышке тысячу поцелуев.

Твой Рико.

Через несколько дней он писал: «После обмена телеграммами между мной и Рейганом, мне кажется, он обижен нашим внезапным решением и недоволен тобой. Я послал ему вежливую телеграмму, в которой уверял, что всему виной он, потому что не сообщил мне своевременно о продаже отеля. Во всем виноват я, так как оставил тебя одну! Это урок мне».

В течение недели, проведенной в Атланте, он пел в «Самсоне и Далиле», «Еврейке» и «Любовном напитке». Он написал мне из Джексонвиля:

«Я прибыл сюда в семь часов пополудни, и многие сразу узнали меня. Я старался отворачиваться от людей, но те обходили меня и заглядывали в лицо. Получил твою телеграмму, во время чтения которой глаза мои наполнились слезами. Когда я посылал ответную телеграмму, служащий спросил, не простудился ли я. Я ответил, что взволнован весточкой от моей маленькой семьи. Он сказал: «Я понимаю вас, потому что принимал эту телеграмму из Нью-Йорка и сам тронут ею. Редко случается читать что-нибудь подобное». То ли он влюбился в тебя по прочтении этого текста, то ли пережил большое разочарование в жизни, но говорил о счастье и горе около получаса, пока я не спросил его: «Сколько?». Он понял и замолчал. Мы ждали поезда около пяти часов и проводили время в прогулках по перрону. Конечно, меня все узнали, так как имя написано у меня на лице, а один человек даже подошел и спросил, не Карузо ли я. «Нет, я его кузен». Все засмеялись и просили меня не дурачить их, потому что моя внешность полностью меня выдает. «Кого? Меня? Покорно благодарю», — ответил я. Такие вещи случаются все время и в поезде, так что я вынужден запереться в купе и лечь спать. Очень скучаю!!»

5 мая он прибыл в Гавану и изложил свои первые впечатления: «Гавана очень похожа на Неаполь. Город старый. Особый характер придают ему навесы у зданий, предназначенные для защиты от солнца. Люди похожи на испанцев, но одеваются, как в Соединенных Штатах».

В течение следующих недель он писал о трудностях, с которыми встретился в Гаване. Жара изнуряла его, он почти не спал, и впервые в жизни у него заболели зубы. Как-то раз он сказал мне:

— Сила Самсона заключалась в его волосах, а моя — в зубах. Когда я лишусь хотя бы одного зуба, начнется мой конец.

На расстоянии в несколько тысяч миль каждый из нас чувствовал встревоженность другого.

Отель «Севилья», Гавана, Куба

5 мая 1920года
16.30
Моя дорогая Дора!

Спешу написать тебе хотя бы пару слов, потому что должен быть на репетиции в 17 часов. Я прибыл сюда в 7 утра. Меня встречали виднейшие люди города. Когда пароход подошел к пристани, тысячи людей у причала долго аплодировали. Меня долго поздравляли и приветствовали. В отеле я встретил немало знакомых по «Никербокер-Отелю», с которыми подружился много лет тому назад. За помещение буду платить по 70 долларов ежедневно, не считая платы за питание. Я имел трехчасовую беседу с репортерами и любителями музыки и только в 10 часов смог принять ванну и немного отдохнуть. В 12 часов я уже был в театре, где выбрал для себя грим-уборную.

20 часов.

Дорогая моя, только что закончилась репетиция. Очень жарко, и я устал. Завтра рано утром пойдет почта в Нью-Йорк. Очень люблю тебя и Глорию. Целую много раз. Ваш Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
6 мая 1920 года 17 часов
Моя милая Дора!

Вот уже второй день я нахожусь здесь и, как мне кажется, пользуюсь всеобщим вниманием. Все газеты пишут обо мне, и, куда бы я ни пошел, меня все узнают и приветствуют. Я встречаю здесь многих, кто знал меня еще в Нью-Йорке. Все они рады, что я приехал сюда, и оказывают мне всевозможные знаки внимания. Мы начали репетицию, и актеры, которые участвуют в «Марте», были изумлены и уверяют, что публика будет вне себя от восторга. Я тоже надеюсь на это. В следующую среду мы откроем сезон «Мартой». Здесь очень жарко. Невозможно ничего надеть! Ты смеялась бы, если б увидела меня. Я завернут в простыню и похож на древнего римского консула. Пот ручьями льет с меня. Я думаю, что каждый день теряю в весе около 10 фунтов (5 кг). Плохо, что ты не покупаешь простыней. Помни, что постельного белья всегда не хватает. Я купил здесь 12 штук. Они простые, но зато новые. Из-за жары здесь все очень медлительны.

Через два дня он очень сильно нервничал:

Мне приходится опасаться всего, что говорится вокруг меня. Только что закончил писать ответ в газету, которая поместила вчера статью, направленную против меня и желавшую «моего

Ватерлоо». Не могу понять, почему в мире есть люди, желающие плохого тому, кто делает свое дело. Мне хочется, чтобы все прошло хорошо, а эти люди готовы лопнуть от зависти. На улице внизу находится магазин грампластинок. С утра до вечера в нем проигрывают пластинки. Мои записи звучат очень громко, и многие останавливаются послушать их. Сегодня утром мальчишки, шедшие из школы, узнали меня и вели себя совершенно так же, как и мальчишки из школы на 44-й стрит. Они настаивали на том, чтобы я им спел. Лишь с помощью полисмена мне удалось от них отделаться. Вечером я не мог уснуть из-за жары. Я пошел в казино, где оставил 300 долларов, не получив никакого удовольствия. Дорогая моя, с тобой Глория, и время поэтому летит быстро, а у меня что за жизнь!! Я даже не могу свободно ходить по улице. Мужчины, женщины, юноши и девушки — все узнают меня и ведут себя, как дети. Они преследуют меня и очень раздражают. Иногда мне хочется бить их по физиономиям. Я жду конца сезона, как находящийся на пороге смерти ждет возможности спасения. Довольно! Я буду всегда с моими двумя «Пушинками». Возможно ли, что Глория заметила мое отсутствие, плакала и заставила плакать тебя? Может быть! Разве мы знаем, что творится в ее головке, что она чувствует? Ты с такой нежностью пишешь о Глории, что и я не могу не плакать. Твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
8 мая 1920 года
9 часов

Любимая моя Дора!

Только что пришло твое нежное письмо от третьего числа. Я очень счастлив. Это самое ласковое письмо, которое ты написала мне по-итальянски. Ты совершенно овладела языком Твои выражения восхитительны. Ты знаешь итальянский язык лучше, чем я английский, — ты знаешь все слова, твои мысли за кончены и кратки, тогда как я пишу очень долго и подчас дохожу до исступления, ища нужное слово. Иногда я говорю себе «Почему ты такой глупый?»

Но ты очень добра ко мне, поощряешь меня, и поэтому я делаю успехи каждый день. Милая Глория! Она так похожа на свою мать... Я хотел бы быть с тобой и радоваться всему, что делает наша малютка...

Дорогая моя, от всей души обнимаю тебя. Твой Рико.

Отель «Севилья»

Гавана. Куба
Понедельник, 10 мая 1920 года 16 часов
Моя любимая Дора!

Пришло твое письмо от четвертого числа, и я благодарю тебя за доставленную радость. Это самый приятный момент в здешней глупой жизни. Когда приходит твое письмо, я запираю двери и читаю его неоднократно от начала до конца. Это единственное удовольствие, которое у меня здесь есть. Работать очень трудно. Вчера с часу дня до шести были репетиции, но я думал только об их окончании. В каких условиях я нахожусь!! Сегодня вечером все повторится — пройдет генеральная репетиция. Представь себе, что будет на спектакле. Я так боюсь его, что мечтаю о том, чтобы проснуться завтра рядом с тобой. Я встречался здесь со многими людьми. Все они желают мне добра, но я желал бы оказаться подальше от них...

Вернулся с генеральной репетиции «Марты». Это был триумф. Большинство ожидало увидеть слабосильного старика и услышать певца с увядающим голосом, а на деле все оказалось иначе. Все сошли с ума. Начиная с первого дуэта с баритоном, нее сольные моменты вызывали искренний восторг. Здесь бытовало мнение, что Карузо сходит со сцены. Но теперь все изменилось. Это эффект сегодняшнего вечера. Я надеюсь, что звтра пошлю тебе телеграмму, сообщающую о моем успехе. Сегодня были представители печати. Конечно, в момент успеха я буду вспоминать два любимых и дорогих для меня создания. Раньше перед выходом я всегда вспоминал свою мать, а теперь думаю о моих Доре и Глории — о тех, для кого живу.

Дорогая моя! Ты вся в моем сердце, и в тот день, когда ты перестанешь думать обо мне, я умру. Твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
13 мая 1920 года
21 час
Моя дорогая Дора!

Во время ланча пришел Бракале и просил принять его. Мы беседовали с трех до семи часов. Он просит продлить гастроли но 7 июля, чтобы поехать в Пуэрто-Рико, Венесуэлу и Перу.

Как только ты получишь это письмо, напиши мне о том, что я необходим тебе для устройства дел нашей семьи. Тогда Бракале обязательно отпустит меня...

Мой дебют! Вчера вечером в 9 часов начался спектакль. Первая сцена прошла почти без аплодисментов, а ведь там пела Баррьентос! Я понял, что публика ждет меня. Началась вторая

сцена, и я вышел. Меня встретили пятиминутной овацией. После первой части дуэта с баритоном, которую я хорошо спел, публика зааплодировала. В конце дуэта я хорошо взял две высоких ноты. Аплодисменты были не очень щедрыми, и меня вызвали только два раза. Во втором акте квартеты прошли незамеченными, но в дуэте я овладел публикой. После него меня вызывали пять раз. Романс «Dormi pur ma il mio riposo» я спел очень хорошо. Мы купировали трио, и занавес опустился после серенады, когда Пламкет втолкнул меня в комнату. Вызывали семь раз и дружно аплодировали. Романс в третьем акте прошел хорошо. Требовали биса, но я отказался. Много вызовов, но нашлись и такие, что пробовали шикать, но публика их остановила. Оставшаяся часть оперы прошла хорошо. После спектакля ко мне пробралось много народу — все поздравляли меня, и сегодня утром, как я уже тебе телеграфировал, в газетах обо мне положительно отзываются. Испанские газеты почти ничего не написали. Для них не существует тенора, который был бы лучше Ласаро. Я уверен, что немного погодя даже испанцы, обсуждающие достоинства мои и Ласаро, оценят меня. Ложусь спать. Как я хочу, чтобы ты очутилась здесь! Только твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
14 мая 1920 года
19 часов

Моя милая Дора!

...Люди, окружающие меня, досаждают мне, и я не вижу способа что-нибудь предпринять. Они так глупы и ничтожны. Они все хуже и хуже служат мне. Пунцо — очень ограниченный человек. Он пытался очернить Марио в моих глазах, и всем нам (в том числе и мне) пришлось долго разбираться в этом деле. Я бываю спокоен, лишь когда пишу тебе или запираюсь в ванной. Думаю, что будет гроза. У Марио ноет рука. У Дзирато болит живот, а у Фучито голова. Пунцо на все наплевать. Так мы живем. Они, может быть, не так уж плохи сами по себе, но болезненно реагируют на замечания. Вчера вечером, например, я немножко напутал в дуэте с Дулькамарой. Я бы не ошибся, если б Фучито был внимательней. Я сделал ему замечание, на что

он неадекватно реагировал. После спектакля я сказал что-то нелестное по его поводу. Его не было в комнате. Были Марио и Пунцо. Вряд ли Марио мог передать что-либо Фучито. Скорее всего, это сделал Пунцо, и сегодня утром мне пришлось поругаться с Фучито. Подобные вещи происходят почти ежедневно. Если бы ты представляла, как я скучаю по тебе, ты

забыла бы все на свете, даже Глорию. Стараюсь найти способ побыстрее выбраться отсюда и быть с моими любимыми. Надеюсь, что какой-нибудь выход найдется, потому что я не в силах выносить такую жизнь. Твой Рико.

Надеюсь, приезд Мимми не причинит тебе беспокойства. Скажи ему, чтобы он вел себя как джентльмен, а не как капризный ребенок.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
16 мая 1920 года
23.30

Моя милая Дора!

Перед сном хочу написать тебе несколько слов...

Не забудь послать телеграмму о том, что я необходим тебе, потому что здесь находится уполномоченный президента Венесуэлы, который уговаривает меня поехать туда...

Перед уходом в театр получил твое письмо и телеграмму, в которой ты сообщаешь, что выехала из Нью-Йорка. Твое письмо сразу же улучшило мое настроение. Я представил, как ты отдаешь распоряжения, расставляешь все по местам, заботишься о питании и так далее, и в течение нескольких мгновений жил рядом с тобой. Я звал тебя: «Дора, где ты?» и слышал, как ты ласково отвечала: «Я здесь, мой Рико, и желаю тебе сегодня успеха». Я пошел в театр в хорошем настроении. В 9 часов начался спектакль. У меня создалось впечатление, что те, кто слышал меня впервые, не были удовлетворены. Они были заранее настроены против меня и говорили:

— Слушать Карузо в маленькой опере (это они «Марту» считали маленькой оперой, но теперь, думаю, так не считают) и безголосую Баррьентос — и платить за это такую кучу денег!!! Это нечестно!!

Должен прерваться, потому что пришел Бракале.

До завтра. Твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
17 мая 1920 года
18 часов

Золотая моя!

Письмо, написанное тобой 12-го, пришло только сейчас. О, моя Дора! Ты не знаешь, как я люблю тебя! Я плачу оттого, что не могу больше выносить разлуку. Я так хочу, чтобы ты была рядом! Я расстроен. Я плачу. Я так несчастен без тебя. Я боюсь, что умру

здесь. Люди злы. Я не могу больше сопротивляться. Зачем я уехал от тебя? Почему мне пришла в голову эта ужасная идея — поехать сюда?..

Прости мою слабость. Я должен был излить душу. Я чувствовал себя, как туча перед грозой. Теперь мне легче. В этом немного виновата и ты, написав мне так много хорошего, что я не смог сдержать слез...

Сердце мое так сильно бьется, что я должен пойти поцеловать фотографию, где изображены ты и Глория, чтобы заставить его постепенно успокоиться. Если бы ты была здесь, дорогая, ты бы очень рассердилась, поняв всю несправедливость происходящего. Эти люди не понимают пения. Они разбираются только в криках. Но я должен быть спокоен и обязан одержать победу.

Тысячу раз поцелуй за меня Глорию и попроси ее не забывать своего папу. Тебя, моя душа, люблю беспредельно и вечно думаю о тебе. Всегда твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
17 мая 1920 года
15.30

Моя дорогая Дора!

Я выиграл еще одно сражение вторым спектаклем «Марты». Мне удалось ухватить публику за — как у вас называется нижняя часть рта? — «il mento» (подбородок) и трясти до тех пор, пока она не оказалась у моих ног. Мнения обо мне настолько различны, что я не знаю, кому верить. Одна и та же газета то хвалит меня, то ругает. В этих двух спектаклях я делал все, что мог, и в ответ добился настоящей демонстрации публики в театре и на улице, но и этого недостаточно, чтобы убедить этих «мудрецов». Вчера, нет, сегодня утром в газете сообщали, что я был великолепен и неповторим во втором спектакле, а в дневном выпуске написано, что я уже схожу со сцены и успех, который я имел, объясняется большим моим опытом и умением петь.

Конечно, люди, не имеющие школы и опыта, не могут хорошо петь. Мне советуют смеяться над всеми этими бреднями, но меня многое тревожит и я боюсь, что не закончу гастролей. Надеюсь, что однажды утром проснусь совершенно больным и смогу по уважительной причине сесть на корабль или на поезд, чтобы ехать к моим дорогим. Эти испанцы не хотят допускать, чтобы кто-либо признавался выдающимся, но если я не сойду с ума, то одержу окончательную победу. Завтра мы даем «Любовный напиток», но если и это их не удовлетворит, я покину это жаркое место.

Очень люблю тебя, дорогая. Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
18 мая 1920 года
15 часов
Любимая Дора!

Какой сегодня замечательный день!! Восемнадцатое число! День рождения Глории! Сегодня ей пять месяцев. Надеюсь, что Бог сохранит ее для нашей любви. Мы будем преданно оберегать и лелеять ее. Она похожа на меня? Это мне не нравится, потому что я некрасив и всегда говорил о своем желании, чтобы она была твоей копией. Самое важное, чтобы она была так же мила, как ты. Дора, я безумно люблю вас обеих!

Вы с Глорией составляете для меня всю радость и счастье жизни. Я люблю вас больше всего на свете. Я твой с того самого момента, как мы поженились. Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
19 мая 1920 года
14.30
Моя дорогая Дора!

Как я сообщал в предыдущем письме, я чувствовал себя перед «Напитком» превосходно благодаря трем твоим телеграммам. Голос звучал отлично. Я хорошо начал спектакль, с середины дуэта, как в Мексике, взял публику за «подбородок», и после первого акта вызовы были бесчисленными. Второй акт публика также приняла очень хорошо. Много раз вызывали. Третий акт. Немного похлопали после дуэта с баритоном. Затем наступила очередь романса. Я никогда не видел ничего подобного. Настоящая буря аплодисментов. Настойчиво, но напрасно требовали биса. После окончания устроили грандиозную овацию. Моя дорогая, ты не представляешь, что мне приходится делать, чтобы добиваться этого. Публика не обращает внимания на то, как поют другие певцы, хорошо ли играет оркестр, не поет ли хор на полтона ниже, хорошо ли подготовлена сцена и как она оформлена, — все ждут меня. К счастью, я был в голосе и в настроении и победил. Теперь трудности позади, потому что «Напиток» и «Марта» были здесь неизвестны, а теперь, в известных публике операх, она у меня в руках. Бракале опять здесь. Он говорил о Лиме (Перу), Венесуэле, Пуэрто-Рико и других городах и странах, и я боюсь, что он займет разговорами все мое время, — сама знаешь, как много могут говорить

импресарио, чтобы убедить в чем-нибудь артиста, и я сожалею, что должен покинуть тебя и продолжить письмо завтра. Дорогая моя, посмотрела бы ты, в каких условиях я нахожусь! Пот льет с меня ручьями. Какая жара!! Дора, я устал и ложусь спать. Прости меня, но я не могу больше писать. Поцелуй за меня Глорию. Всей душой твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
22 мая 1920 года
16.30
Дорогая Дора!

Бракале предлагает мне поездку в Венесуэлу и Лиму. После того, как здесь закончатся гастроли, я должен отправиться в Новый Орлеан и Атлантик-Сити, а уже оттуда в Пуэрто-Рико, откуда начнется турне, которое закончится в Лиме.

Мне не хочется этого делать, потому что я устал и соскучился по моим двум «Пушинам». Если ты не прочь побыть еще немного без своего нервного мужа, телеграфируй мне и я приму предложение. Если же нет, телеграфируй, что ты не разрешаешь мне принимать новое предложение. Ты поняла? Я с удовольствием откажусь от 200 000 долларов, потому что больше не могу быть в разлуке с моей Дорой. Мнение обо мне начинает меняться. Отзываются очень хорошо. Надеюсь, что буду иметь сегодня большой успех.

Целую вас с Глорией тысячу раз и крепко прижимаю к сердцу. Твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
23 мая 1920года
18 часов
Моя дорогая Дора!

Как обычно, мы начали «Бал-маскарад» в девять часов. Я хорошо спел первую арию, но этого никто не понял. Было мало аплодисментов, и после окончания акта вызывали только два раза. Во втором акте много аплодировали Безанцони за «гадание». Первое трио с Безанцони и мадам Эскобар, мексиканской певицей, встретили почти молча. Во второй части акта меня наградили овациями за баркаролу и скерцо. После второго акта много раз вызывали. В третьем акте в дуэте я пел очень хорошо и думал, что последуют бурные аплодисменты, но верхняя нота мадам Эскобар привела к тому, что их вообще не было. Терцет прошел хорошо, но без особой реакции. В первой

части последнего акта у меня есть большая фраза, которую я спел от души, что встретили с восторгом. Вторую часть тоже отлично спел, и меня вызывали много раз. Но как мне приходится работать! Ты знаешь, Дора, как внимательно я отношусь ко всем деталям, потому что люблю порядок и стараюсь, чтобы все было хорошо, но здесь все работают, думая лишь о себе, и поэтому, несмотря на многочисленные репетиции, ничто не идет гладко.

Здесь все привыкли петь с холодком и не обращать внимания на оформление, оркестр, дирижера, хор, что очень нервирует меня и снижает настроение. Публика видит все это и ценит мою работу. Партнеры, особенно баритоны, хотят достичь такой же славы и пользуются для этого не всегда красивыми способами. Тенор, певший в Метрополитен» и старающийся сделать мне неприятное, сказал, что я держусь в «Мет» только благодаря «Черной Руке», которой выплачиваю почти все, что получаю...

Благодарю тебя за телеграмму, в которой ты просишь меня не ездить в Венесуэлу. Бракале, ожидая ответа, чувствует себя, как на иголках. Он сойдет с ума, потому что является импресарио во всех этих маленьких южноамериканских республиках и его спросят, почему он привез Карузо на Кубу, а к ним — нет. Он потеряет все свои места. Меня это не волнует, ведь я должен беспокоиться о моей дорогой жене, милой дочке и немножко о своем здоровье. Как ты себя чувствуешь, милая? Как поживает Глория? Надеюсь, родные мои, что все хорошо. Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
25 мая 1920 года 18 часов

Моя родная Дора!

Получил твое письмо от 20 числа, которое начинается так холодно — только «дорогой». Бедная Дора! Слуги доставляют тебе столько беспокойства, но тебе этого недостаточно и ты находишь еще время учить французский язык. Ты хочешь поехать во Францию? Если хочешь, конечно, поедем. О себе ничего интересного написать не могу — лишь то, что сегодня пою в «Паяцах».

3 часа утра.

Расскажу немного о спектакле. Когда дела идут неважно, у меня нет настроения петь и голос не звучит. Именно в таком состоянии я начал выступление. Но ариозо поразило всех. Какая реакция, дорогая!

Сцена была покрыта цветами и всевозможными предметами, которые бросали из лож. Здесь оказались веера, искусственные цветы, соломенные шляпы, платки и программки. Занавес

открывался бесчисленное множество раз. Мне следовало сказать что-нибудь, но я не мог этого сделать. Зрители остались довольны, видя, как мои губы произносили: «Muchas gracias, muchas gracias»[5].

Спокойной ночи, дорогая. Любящий тебя Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
Четверг, 27мая 1920 года
18.30

Дора, любимая!

Прежде всего должен сообщить, что критики восторженно приняли «Паяцев». Все поздравляют Бракале с успехом, говоря, что «Паяцев» и Карузо достаточно, чтобы сделать сезон замечательным. Конечно, я много репетирую и надеюсь, что «Тоска» пройдет завтра с успехом. Ты пишешь, что отдохнула и что в доме все очень красиво. Бедная моя Дора! Тебе, наверное, никогда не приходилось так трудиться. Такова жизнь. Я беспокоюсь за тебя. Береги себя. Буду рад всему, что нравится тебе, но помни, что я много тружусь и иногда буду просить награду за мою работу. Здесь я веду настоящее сражение и надеюсь на победное его завершение. Благодарю тебя, дорогая, за твое ласковое отношение ко мне. Оно придает мне спокойствие, в котором я сейчас так нуждаюсь. Целую. Всегда твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
28 мая 1920 года 15 часов

Моя дорогая Дора!

С тех пор, как я здесь, у меня не было такого ужасного дня. Не могу понять, что со мной происходит. Я очень нервничаю. Ничего не хочется делать. Не хочу никого видеть. Я со всеми груб. Все меня раздражает. Думаю, что во всем виновата погода. Небо затянуто облаками. Духота невозможная. Я устал находиться здесь. Хочу бежать отсюда к моей дорогой Доре. Здесь очень шумно и нет ни минуты отдыха. Автомобили и трамваи шумят и гудят непрерывно — день и ночь. Вообрази мое состояние. Сегодня вечером пою «Тоску» и, если не успокоюсь, не ручаюсь за успех. Надеюсь, к вечеру все будет хорошо, особенно, если получу телеграмму или письмо от тебя, так как пока ничего не пришло.

17 часов.

Кричу, как помешанный: «Ура!! Урррррраааааа!!!»

Получил от тебя три замечательных письма. Твой Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
29 мая 1920 года 2.30 утра

Дорогая моя Дора!

Пишу тебе после спектакля и ужина. Я начал петь в хорошем настроении и первую арию спел превосходно. Публика с энтузиазмом аплодировала. Дуэт с Тоской, который здесь никогда не пели по-настоящему, потому что тенора всегда сохраняют силы для арий, был оценен по достоинству. Во втором акте, как ты знаешь, для тенора мало работы. Третий акт стал кульминацией вечера. Арию «E lucevan le stelle» («Горели звезды») приняли восторженно. Требовали бис, но я продолжал «плакать» и оркестр начал играть под крики публики. Финал акта прошел хорошо, и все, спетое мной, публика встречала одобрительно. Все говорят, что никогда раньше не слушали оперу, а только арию третьего акта, потому что знали только ее. Кубинцы, которые слышали меня в Нью-Йорке, твердят, что я никогда не пел лучше. Правда, люди говорят подобное уже 27-й год. Я выиграл еще одну битву. Надеюсь завоевать всю страну. Устал. Спокойной ночи.

Целую. Хочу умереть рядом с тобой. Рико.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
Понедельник, 31 мая 1920 года 1.30 утра

Милая моя, дорогая Дора!

...Я пошел в театр и показал телеграмму Бракале. Он чуть не упал в обморок. Сказал, что поедет со мной в Нью-Йорк и будет умолять тебя принять предложение, потому что, как он говорит, нельзя выбрасывать в окно 200 000 долларов. Я успокаивал его, как мог, и, кажется, успокоил. Затем я стал готовиться к спектаклю. Ты не можешь себе представить, как я был взволнован. Но я пел в «Паяцах» так, что удивился сам, а всех остальных буквально свел с ума. Никогда не слышал, чтобы люди так кричали, как на этом спектакле...

О последних спектаклях он писал так:

«Сила судьбы»... В тот момент, когда я отбросил пистолет в конце первого акта, тот, кто должен был выстрелить, не сделал этого, и я громко крикнул: «Бууууммммм!!!» и так... убил отца Леоноры!!! Можешь себе представить, как смеялась публика. Одно это обеспечило успех спектакля, так как все пришли в отличное настроение. Твой Рико очень хорошо спел арию и был

награжден продолжительными аплодисментами. После дуэта, в конце которого я падаю, мне пришлось шесть раз «раненому» выходить на вызовы. Надо было видеть лицо баритона Страччари после наших дуэтов. Он выглядел очень рассерженным, потому что публика явно не одобряла его пения.

«Кармен»... В дуэте четвертого акта я поразил всех. Сам не знаю, откуда у меня взялось столько голосовой мощи и драматизма... Вызовам не было конца, и мне пришлось сказать «Desculpame, tengo mucha hambre y los applausos que V.S. me prodigan non me sotisfan por esto ve mego de ir a la cama», что означает: «Простите меня, я очень голоден, а ваши радушные аплодисменты не в силах утолить мой голод, поэтому я прошу вас идти по домам».

Ты знаешь, моя дорогая, каким счастливым ты сделана меня на 21-м месяце нашей совместной жизни. Глория!! Ты увенчала мою славу! Моя Глория! Я более, чем счастлив...

Нежно целую тебя и Глорию. Только ваш Рико.

Глава 9

Энрико отсутствовал в течение шести недель. Мы решили, что «Билтмор» расположен слишком далеко от «Метрополитен», и, перебрав несколько гостиниц, я остановилась на отеле «Вандербильт» на углу 34-й стрит и Парковой авеню. Договорившись обо всем, я отправилась в Истхэмптон. Обычно после возвращения Энрико мы принимали некоторые приглашения, и потому я решила взять с собой драгоценности. Я поместила их в переносной сейф, который поставила на камине около кровати, заперла его и спрятала ключ. Весна в том году была поздней — дни стояли холодные и мрачные, и почти каждый день случалась гроза. Однажды вечером мы с братом и его женой сидели в комнате после обеда, когда вдруг необычайно сильно ударила молния и потух свет. Франк — дворецкий, прислуживавший за столом Энрико в течение ряда лет, — зажег свечи в латунных подсвечниках на камине. Каждый удар грома сотрясал оконные рамы, а по стеклам текли дождевые потоки. В этой обстановке разыгрались события, как бы сошедшие со страниц, описывающих похождения Ника Картера[6]. Все началось с того, что зазвонил дверной звонок и через пару минут Франк сообщил, что со мной хочет говорить Фитцджеральд. Последний вошел в комнату. С его плаща стекали струи воды.

— У ворот стоит такси, прибывшее из Нью-Йорка. Мужчина и женщина, сидящие в нем, говорят, что им нужно видеть мистера Карузо.

— Кто они?

— Не знаю. Они выглядят странно. Фуражка на голове мужчины похожа на те, что носят французские офицеры. Женщина одета в вечернее платье. Очевидно, иностранцы.

— Франк, приведите их и не уходите из комнаты. Фитц, наблюдайте за происходящим через окно.

Я никогда не видела этих людей. Фитц оказался прав — они выглядели необычно. Мужчина был высокого роста блондином с резкими и суровыми чертами лица. Он был облачен в офицерскую форму: лакированные ботинки, синие брюки с красными лампасами и темно-синий мундир с множеством украшений. На голове его красовалась красная шляпа, расшитая золотом. На плечи был накинут длинный плащ. Женщина — невысокая и темная — казалась старше его. На ней было черное вечернее платье из тафты, светлый шарф и тюлевая шляпка. Не успела я поздороваться, как мужчина заговорил:

— Я пришел повидаться с мистером Карузо. Нам необходимо

видеть его тотчас же.

Он говорил по-английски с акцентом, принадлежность которого я не могла определить.

— Мистера Карузо нет, — сказала я, — он в...

— Мистер Карузо в Южной Америке, — внезапно прервал меня Франк, — в Буэнос-Айресе.

Я промолчала. Франк хорошо знал, что Энрико в Гаване. Офицер нахмурился.

— Но я знаю, что он здесь. Мне сказали об этом в «Никербокер-Отеле». Мы прибыли сегодня утром из Европы и сразу же направились сюда. Безусловно, он здесь.

— Его нет здесь, — сказал мой брат, — миссис Карузо сказала вам об этом.

— Миссис Карузо? Здесь нет миссис Карузо.

— Простите, — сказала я, — но я и есть миссис Карузо.

Он покраснел и обратился к женщине на незнакомом мне языке. Эффект, произведенный на нее его словами, поразил нас. Она побагровела и что-то сердито сказала ему. Женщина говорила все громче и громче, ее речь прерывалась временами истерическим хохотом и рыданиями. Мужчина даже не пытался успокоить ее, он лишь сказал ей несколько слов, продолжая рассматривать меня. Внезапно он сунул правую руку под плащ. В этот самый момент брат схватил один из подсвечников. Одновременно распахнулось окно, и в нем появился Фитц с пистолетом в руке.

— Руки вверх и сбросьте плащ, — скомандовал он.

Мужчина повернулся в сторону Фитца. Плащ упал с его плеч. Он усмехнулся и вынул из кармана бумажник, достал из него визитную карточку и бросил ее на стол. Женщина закрыла лицо руками.

— Прошу прощения, мадам, — сказал он. — Произошла ошибка. Вот моя визитная карточка.

Франк подал ее, и я прочла: «Михаил Каттинас. Секретарь Румынской дипломатической миссии. Вашингтон».

В углу карандашом было написано: «Отель «Билтмор».

— Мадам, прошу разрешить нам остаться на ночь. Погода...

— В трех километрах отсюда есть гостиница, — сказал Фитцджеральд через окно.

Мужчина не обратил внимания на слова Фитца и продолжал смотреть на меня.

— Мы иностранцы и просим вашего гостеприимства. В такую погоду нельзя выгнать на улицу даже собаку.

— Здесь нет места. Гостиница в трех милях, — повторил Фитц.

Женщина топнула ногой, вскрикнула и бросилась вон из комнаты. Мужчина низко поклонился, повернулся и пошел вслед за нею. Я сразу же позвонила в «Билтмор». Управляющий подтвердил, что двое людей спрашивали обо мне. Они прожили несколько дней и уехали сегодня утром, не заплатив по счету. Затем я позвонила в Румынскую миссию в Вашингтон. Их имен не было в списке служащих миссии. В ту же ночь я написала Энрико об этой невероятной истории.

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
Вторник, 1 июня 1920 года
16.30

Моя дорогая Дора!

Ты не можешь представить, что я переживал, читая письмо, в котором ты описываешь визит Каттинаса! К счастью, ничего не случилось. Эти люди не принадлежат ни к моим друзьям, ни к знакомым. Я никогда в жизни не слышал их имен. Безусловно, целью их прихода было что-то другое, иначе не имело смысла настаивать, когда Франк сказал им, что меня нет. Я не знаю никакого румына по имени Каттинас, а те, которых знаю, никогда не напоминали о себе. Военный мундир, отказ назвать цель прихода, — все это наводит меня на дурные мысли. Возможно, они румыны, но надо учесть, что это цивилизованный народ и, когда муж сопровождает жену, как было на этот раз, он всегда заранее договаривается о свидании и представляется хозяевам. Они не супруги, а, уверен, опытные мошенники, пришедшие с дурными намерениями, надеясь застать тебя одну. Я очень взволнован и надеюсь, что ты больше никого не будешь принимать в такой поздний час. Дай указание никого не впускать после захода солнца. Если ты будешь ждать кого-нибудь из друзей, назови его имя или установи пароль. Ты должна сообщить об этом происшествии в полицию. Не могу понять, что им было нужно от меня и почему они так разнервничались, не застав меня дома? Это странно и загадочно! Если бы они приходили по делу, то могли бы рассказать тебе, в чем оно состоит. Когда люди приходят просить денег, они не тратят 200 долларов на такси...

Если они приходили шантажировать меня, не могу понять, чего они домогались. Я никогда не имел никаких дел с румынами. Много думаю об этом и не нахожу правдоподобного объяснения. Будь осторожна, милая. Я боюсь за тебя и за Глорию. О, мой Бог! Зачем я уехал от тебя? У меня есть мысль, возможно невероятная, но тебе лучше знать. Иногда около известных и

богатых людей подвизаются паразиты, которые, видя, что почва ускользает из-под ног, стремятся доказать, что они необходимы. Они идут на любые шаги, чтобы добиться доверия людей, чье недовольство вызывают. Я имею в виду следующее: много раз я и ты ругали Фитца, и вполне вероятно, что он прибегнул к этой уловке, чтобы доказать свою преданность. Может быть, я ошибаюсь, но мы вольны думать все, что угодно. Как ты думаешь, будет ли Глория ласкова со мной, когда я вернусь? Надеюсь, что да. Всегда твой Рико.

Как все люди, находящиеся на виду, Энрико получал много анонимных писем. Их число выросло после нашей свадьбы, и я обещала не уничтожать их, а откладывать до его возвращения. В 1910 году «Черная рука» прислала ему письмо, требуя 15 000 долларов. Он отдал письмо в полицию, где выделили агента для его сопровождения. Через неделю он получил второе письмо, приказывавшее оставить деньги у главного входа в один из домов в Бруклине. В полиции приготовили пакет, и Энрико отнес его. Дом окружили агенты, и двое мужчин, подошедших к свертку, были арестованы. Их осудили на семь лет. Через год Энрико подписал прошение об их освобождении. Получаемые нами анонимные письма были либо клеветническими, либо непристойными, либо исходили от душевнобольных людей. У Энрико была своя теория относительно них. Он говорил:

— Наблюдай за первым человеком, который придет после получения такого письма, потому что иногда оно может быть написано знакомым, интересующимся, какой эффект его письмо способно произвести.

В двух случаях он оказался совершенно прав. Один раз автором письма оказался небогатый человек, которому Энрико помог деньгами, в другой - известный маэстро. Каждый из них пришел к нам неожиданно рано утром. Обращение с ними Энрико так их растрогало, что они во всем сознались.

— Что заставляет людей писать нам подобные письма? — спросила я.

— Злоба и зависть, — ответил Энрико. — Одни завидуют деньгам, другие — славе.

Было нетрудно понять, почему мой бедный Энрико не всегда верил в искренность своих друзей.

В Истхэмптоне я подготовила к приезду Энрико комнату, где он мог наклеивать вырезки, а я разбирать коллекцию марок. В эту комнату можно было проникнуть из моей комнаты и снаружи по лестнице. Внешний вход проходил через две двери: тяжелую деревянную, наружную, и внутреннюю, закрывавшуюся на засов. Наружную дверь обычно не запирали. Как-то вечером я сидела в

библиотеке, приводя в порядок гобелен. Мой брат уехал в Нью-Йорк, а его жена сидела рядом со мной и шила. В девять часов я поднялась наверх посмотреть на Глорию и пожелать Нэнни доброй ночи, а потом вернулась обратно. Я помню, что через полчаса взглянула в окно и сказала:

— Совсем безлунная ночь.

В этот момент я услышала, как наверху зазвенел секретный звонок сейфа. Я побежала к телефону. Сверху но лестнице сбежала Энрикетта, крича: «Ваши драгоценности!!». Я остановила ее и велела молчать. Я слышала, как звенел звонок все то время, пока звонила по телефону. Сержант полиции приказал останавливать все машины, идущие в сторону Нью-Йорка. К этому времени собрались все слуги. Франк собирался преследовать грабителей, но я запретила ему делать это, помня, что мы не вооружены, а тот, кто украл ценные вещи, не остановится перед убийством, чтобы сохранить их у себя. Револьвер был только у Фитца. Я позвонила ему, но никто не ответил. Я позвонила также в местную полицию и шерифу. Как только я кончила говорить по телефону, у входной двери появился Фитц. Он ничего не знал о случившемся и никого не встретил. Он вынул револьвер, и мы поднялись наверх. Глория и другие дети спали спокойно и даже не проснулись. Единственными доказательствами грабежа были пустой камин и щель шириной в четыре дюйма во второй двери, ведущей к лестнице, достаточно широкая, чтобы можно было просунуть руку и отодвинуть засов. Где-то еще звенел звонок. Фитц пошел в направлении звука и вернулся минут через двадцать с открытым сейфом. Драгоценности исчезли, но он подобрал на траве бриллиантовые серьги и гребень. Не только Фитц, но и другие держали сейф в руках, прежде чем я подумала об отпечатках пальцев. Хотя я и телеграфировала немедленно Энрико, он узнал обо всем еще до прихода телеграммы из сообщения Ассошиэйтед Пресс. Утром я получила от него телеграмму: «Слава Богу, ты и дитя не пострадали. Драгоценности вернем».

Отель «Севилья»
Гавана. Куба
Среда, 9 июня 1920 года 4 часа утра
Дорогая Дора!

Не знаю, смогу ли написать письмо, потому что голова моя превратилась в «вечный двигатель». Сообщение о краже очень взволновало меня. В «Аиде» я одержал еще одну победу и был восторженно принят публикой. Я заметил, что люди, обычно поздравлявшие меня и улыбавшиеся мне, на этот раз сидели с

мрачными лицами, и подумал: это оттого, что я пел еще лучше, чем обычно. Такая реакция меня разозлила, и я сказал Бракале, что немедленно уезжаю. Бедняга! Он не мог вымолвить ни слова, только изменился в лице и вышел. После спектакля мы сели ужинать. Было около двух часов, когда официант подал Дзи- рато какую-то записку. Я почувствовал, что тут что-то не то, и спросил Дзирато, от кого записка. Он ответил, что скажет потом, встал из-за стола и вышел. Я спрашивал об этом Фучито, Стефанини и еще кого-то, но никто не мог мне ответить. Я понял, что произошла какая-то неприятность, и когда Дзирато вернулся, настоял на том, чтобы тот все объяснил. Тогда он подал мне телеграмму, которую агентство Ассошиэйтед Пресс разослало по всему свету.

В телеграмме было написано: «Сегодня злоумышленники ограбили загородный дом тенора Карузо. Похищены драгоценности на сумму 500 ООО долларов. Среди них бриллиантовое ожерелье стоимостью 75 ООО долларов».

Можешь себе представить мое состояние после этого... Я сразу же отправился на телеграф и спросил, нет ли для меня телеграмм. Мне подали две телеграммы, в которых было написано:

«Не волнуйся. Мы все в безопасности. Полиция Лонг-Айленда и Нью-Йорка ведет розыски. Делается все возможное. Разосланы приметы повара, поваренка и супругов Каттинас. Дом полон полицейских. Не беспокойся. Дора.»

Даже нет «целую». Я послал тебе такую телеграмму:

«По поводу грабежа не волнуюсь. Хочу, чтобы ты сообщила мне о здоровье — своем и Глории. Пропавшие драгоценности вернем. Надеюсь, никто не пострадал.

Передай, что я всем доверяю».

Моя голова мучит меня. Готов кричать от приступов сильной и внезапно наступающей боли. Не пойму, как могло все произойти. Ведь вас там двенадцать человек. Неужели никто ничего не заметил?..

Горячо целую тебя и Глорию. Твой Рико.

P.S. Странно, что Фитц не встретил грабителей, идя к дому, но нашел сейф. Где была в момент грабежа его жена? В каком месте собаки потеряли след?

Драгоценности были застрахованы в трех разных компаниях. На следующий день у нас поселилось десять агентов. Они обыскали каждый клочок земли, обследовали озеро и неоднократно опросили всех слуг. Дело получило широкую огласку. На поездах и такси стали приезжать гадалки. Прибыло так много репортеров, что я превратила теннисный корт в пресс-

центр. Нашу почту приходилось доставлять в больших корзинах — там были буквально тысячи писем от всевозможных чудаков и маньяков. Я никогда бы не поверила, если б мне сказали, что в Нью-Йорке столько ненормальных людей. Телефонные звонки трещали беспрерывно. Советов и предостережений было столько, что я в отчаянии вызвала своего юриста, чтобы он жил в доме и разбирался в этом хаосе. Он привез с собой специалиста по почеркам, чтобы тот разбирал почту. Каждое утро приезжали машины, наполненные экспертами и следователями. В течение последующих трех недель я завтракала и обедала с моими десятью агентами, слушая их рассказы об убийствах и преступлениях. Некоторые из них оказались ирландцами, другие — итальянцами, и вдобавок к расовой неприязни они соперничали в борьбе за премию, предложенную страховыми компаниями. Среди ночи они ходили на цыпочках по дому, ползали по земле с револьверами наготове и в довершение всего уверяли, что слышали в лесу сицилийский посвист. Это встревожило меня. Я пригласила специального агента — симпатичного итальянца, чтобы тот всюду сопровождал Глорию. На пятый день после кражи мне позвонил репортер из Юнайтед Пресс: «Мы только что получили известие о том, что во время первого акта «Аиды» на сцену театра в Гаване была брошена бомба. Мы не знаем, пострадал ли при этом Карузо».

Всю ночь я просидела у кроватки дочери и молилась, а на следующее утро получила телеграмму от Энрико, в которой он сообщал, что с ним ничего не случилось.

Из дома мистера и миссис де Беренгуэр

Санта Клара. Куба
16 июня 1920года
Полдень
Родная моя!

Пишу тебе о том, как была брошена бомба. Начало «Аиды» запоздало на три четверти часа. Я очень хорошо спел романс «Celeste Aida», и все шло нормально до конца первого акта (сцена в храме). Второе действие начинается дуэтом Амнерис и Аиды, после чего идет сцена триумфа Радамеса, но этой сцены не было, потому что в конце дуэта раздался сильный взрыв. Я находился в тот момент в уборной и надевал плащ. Едва я успел приколоть булавку, как меня сбил удар взрывной волны. Затем я увидел бегущих по коридору людей с выражением ужаса на лицах. Кто-то посоветовал мне уйти, потому что могут быть еще взрывы. Я был очень спокоен и выбежал на сцену, заваленную обломками. Занавес опустили, но я вышел из-за него и увидел, что публика

поднялась со своих мест. Кто-то в оркестре играл национальный гимн. Все возбужденно разговаривали и жестикулировали. Оркестровая яма была завалена обломками, а боковые ложи заполнены пылью. Кто-то оттащил меня назад и проводил в уборную. Там было много народу. Все высказывали свои соображения. В этот момент вошел какой-то мужчина и сказал: «Всем удалиться. Власти прекратили спектакль. Загорелась сцена». Ему не пришлось повторять. Я надел лучший костюм, выскочил на улицу, сел в автомобиль, приехал в отель и сразу же послал тебе телеграмму. Откуда взялась эта бомба? Кто бросил ее?..

Бомба находилась в туалете на галерке около арки сцены и легко могла полететь вниз. Она взорвалась не в зрительном зале, значит, целью была не публика. В кого же метили? В меня или Бракале?.. Если б это было дело анархистов, они бросили бы ее в первый вечер, когда собрался цвет Гаваны... Ранено около тридцати человек, но, к счастью, публика уходила без паники и больше ничего не случилось.

Твой Рико.

Глава 10

Бракале настаивал на поездке в Южную Америку. Энрико писал:

«Я говорил ему, что мне больше не хочется петь, но он упорно настаивает на своем и я не могу выпроводить его за дверь. После твоего ответа все будет яснее — мы посмотрим, что сможем сделать, если положение станет безвыходным для него. Сможешь ли ты оставить дома дочку? Путешествие займет четырнадцать дней по морю туда и столько же обратно. Не слишком ли это долго для тебя? Ты знаешь, Бракале — очень опытный импресарио. Он знает, как разговаривать с такими артистами, как я. Он очень вежлив и тактичен, я не могу обращаться с ним грубо и поэтому вынужден с утра до вечера обсуждать разного рода предложения».

После получения моей телеграммы с отказом от поездки Энрико написал мне:

«Я показал Бракале твою телеграмму. Он чуть не умер! Надо было видеть его лицо — оно изменилось и в чертах и в цвете.

Бракале разговаривал со мной около трех часов. Он хочет, чтобы я послал тебе еще одну телеграмму. Он придет вечером. Я не знаю, что делать, боюсь, мне придется нелегко».

На следующий день:

«Еще раз очень спокойно и долго говорил с Бракале о Перу. Он спросил меня, не получил ли я ответа на телеграмму, на что я ответил, что не посылал ее. «Хорошо», — сказал он. Я удивился и спросил: «Вы изменили свое намерение увезти меня в Лиму?». «Вовсе нет. Я думаю, лучше не беспокоить мадам, потому что она все время будет отвечать: нет, нет и нет. Лучше всего сделать так: когда вы вернетесь, то убедите ее поехать с вами в Лиму. Я могу подождать. Я вижу, что вы сами согласны ехать, и уверен, что вам удастся уговорить ее поехать с ребенком или одну».

Я посмотрел ему в глаза и увидел, что он говорит искренне. Я не моглгать в этот момент и сказал, что постараюсь объяснить тебе, что так будет лучше для всех, потому что, если вдруг со мной что-нибудь случится, понадобится много денег, чтобы нормально жить, распростившись с театром. Подумай об этом и ты увидишь, что я прав. Если ты боишься за Глорию, я подумаю, что можно сделать в таком случае.

Вы обе в моем сердце. Рико».

В конце концов он решительно отверг предложение Бракале. Он боялся за нашу безопасность в его отсутствие, и, кроме того, врачи сказали, что климат и пища Южной Америки могут

оказаться вредными для Глории.

Кончился сезон в Гаване, и Энрико возвращался домой. Мы с Глорией встретили его в Атлантик-Сити, где он остановился, чтобы дать концерт. Первыми его словами были:

— Наконец-то мы вместе.

Несколько позже он сказал мне:

— Дорогая Дора, не кажется ли тебе, что немного неосмотрительно оставлять сейф с драгоценностями на камине?

— Но, Рико, зато мне было видно его с постели.

— Да, правда.

Он привез мне часы, украшенные бриллиантами, и кусок золота размером больше куриного яйца, который ему подарил Бракале. На одной стороне была надпись, посвященная его чудесному спасению при взрыве бомбы, а в верхнюю часть вставили маленький камень из разрушенной части театра. Мимми ждал нас в Истхэмптоне. Он вырос и носил форму бойскаута.

— Что это значит? - спросил Энрико. — Ты — американский солдат?

Мимми пытался объясниться, но Энрико сказал:

— Это не имеет значения. Играй в солдатики, если тебе этого хочется, но я в твоем возрасте уже работал.

В тот же день несколько позднее я сказала Мимми, что хотела бы, чтобы он поступил осенью в Военную Академию, так как обучение в ней поможет ему проходить военную службу по возвращении в Италию. Я была уверена, что этот план понравится отцу. Энрико был восхищен и добавил, что Мимми нечего попусту тратить время. Пусть занимается игрой на рояле и берет уроки у Фучито. Я была рада, что между ними налаживается какая-то связь. Агенты все еще сновали вокруг дома и так надоели Энрико, что он попросил их уйти, оставив только «нашего частного итальянского стража». 6 августа праздновали мой день рождения. Он начался хорошо, но закончился ужасно, во всяком случае, для меня. За завтраком Энрико сказал:

— Мы должны начать заполнять другой ларец, — и подарил мне превосходный бриллиант.

Все утро мы занимались ловлей окуней с мола — новое занятие Энрико, который никогда раньше не ловил рыбу. Он так увлекся, что упал в озеро, где остался стоять по пояс в воде, смеясь и зовя Марио. Марио принес халат, а вместе с ним почту. Пока Энрико карабкался на берег, я лениво распечатала одно из писем. Оно было напечатано на машинке и не имело подписи. В нем на чистом английском языке требовали 50 000 долларов. Некто написал, что если в течение шести дней эта сумма не будет

прислана по адресу, указанному в колонке объявлений «Ивнинг телегрем», Энрико, ребенка и меня убьют. Деньги следовало прислать в стодолларовых купюрах. Рекомендовалось не связываться с полицией. Увидев, как я изменилась в лице, Энрико взял письмо и медленно прочел его. Затем он спокойно сказал:

— Не бойся, Дора.

— Но что нам делать? Ты не собираешься сообщить в полицию?

— Будет лучше, если ты никому об этом не скажешь. Но не следует бояться.

Через шесть дней должно было наступить 12 августа. Первые три дня прошли внешне спокойно. Энрико, как обычно, резал и клеил. Он не говорил больше о письме, а только о концерте, который должен был состояться 14 числа в «Оушен Гроув», «если мы будем живы», — думала я про себя.

10 августа Мимми уехал навестить друзей. Утром 11 числа

Энрико занимался отбором песен для исполнения на бис. Мы завтракали одни, как обычно. День был жаркий и душный.

— Мне не хочется сегодня работать, — сказал Энрико. - Давай покатаемся. Возьмем Глорию и Нэнни, а также охранника. Он может сесть рядом с Фитцем, если хочет подышать свежим воздухом.

Во время прогулки он смеялся, шутил с агентом, и я удивлялась, как он мог забыть, что завтра 12 число.

— Думаю, пора возвращаться, — сказал он после часовой прогулки. Мы подъехали к железной дороге и, услышав шум поезда, остановились, чтобы пропустить его. Но вместо того, чтобы пройти мимо, поезд засвистел и остановился.

— Все в порядке, босс, — сказал агент и, выпрыгнув из машины, открыл мне дверцу.

— В чем дело? — спросила я Энрико.

— Дорогая Дора, мы едем в Нью-Йорк этим поездом и вернемся 15 после моего концерта.

— А Глория и Нэнни?

— Они тоже. Садись в вагон, и ты все поймешь.

В вагоне я увидела Марио и Энрикетту с нашим багажом. Энрико с агентом приготовили все, не сказав никому ни слова. Даже слуги не знали, куда мы отправляемся. Когда поезд тронулся, Энрико сказал:

— Ты напрасно так нервничала, моя Дора, но это неплохо. Твое волнение помогло мне скрыть мой план. Никогда не бойся плохих писем. Я все сделаю для тебя и Путины.

Я думала, что ничто не может испугать Энрико после событий последних двух месяцев (бомбы, грабежа и угрозы

смерти), но ошибалась. После концерта, когда мы вошли в комнату Глории и увидели, что она провалилась вниз головой между двумя кроватями, он чуть не лишился рассудка.

— Боже мой! Она задохнулась!! — закричал он, вытаскивая се, — скорее доктора!! Она не может произнести ни звука.

Он был в панике. Вдруг Глория улыбнулась и открыла глаза.

— Слава Богу!! Она жива!! — вскричал он.

Нэнни поспешила уложить девочку в постель, приговаривая:

— Зачем ты испугала своего папу? Идите спать, мистер Карузо. Вы выглядите совсем измученным.

Возвращаясь в Истхэмптон, мы предвкушали несколько недель отдыха. Это было первое лето, которое Энрико проводил в Америке. Прежде у него почти не случалось свободных дней. К нам часто приходили на обед друзья. В середине августа члены

фешенебельной Саутхэмитонской летней колонии организовали ежегодный благотворительный базар в пользу местной больницы и пригласили Энрико в качестве наиболее почетного гостя и главной притягательной силы. Ему предложили рисовать карикатуры в специальной палатке на всех, заходящих в нее, за плату в десять долларов. Он с удовольствием согласился и сказал, что любит такой отдых. Организаторы встретили нас у входа.

— Ваша палатка великолепна, мистер Карузо, — сказала миссис К., сопровождающая нас, — вам она понравится.

Она указала на самую большую палатку, украшенную красными, зелеными и белыми лентами. Над ней реяли два итальянских флага. Палатка была отделана бахромой из спагетти. Энрико замер.

— Что это такое? — спросил он.

С лица его слетело выражение удовлетворения и непринужденности: оно превратилось в непроницаемую маску.

— Мне жаль, мадам, но я не могу здесь рисовать. Пожалуйста, уберите спагетти. - Затем он добавил с улыбкой: - Спагетти, как вы знаете, предназначены для кухни, а я еще не голоден.

Испуганные организаторы ярмарки немедленно заменили украшения. По дороге домой он довольно печально сказал мне:

— Они не понимают, чем оскорбили меня, потому что многие думают об итальянцах именно так. Меня удивляет, что такие славные люди могут вести себя так бестактно и допускать подобные ошибки. Временами я скучаю по своей прежней жизни в Синье.

Вскоре Энрико предстояло отправиться в одно из самых продолжительных своих турне. В течение месяца он должен был

выступить с концертами в Монреале, Торонто, Чикаго, Сан-Паулу, Денвере, Омахе, Талсе, Форт-Уорте, Хьюстоне, Шарлотте и Норфолке. Он согласился снять помещение в отеле «Вандербильт», и мы поехали на несколько дней в Нью- Йорк, чтобы отдать последние распоряжения. Апартаменты находились на последнем этаже и имели надстройку над крышей. Их построили для личных целей Альфреда Вандербильта. Стены огромного салона, отделанные парчой красного цвета, были превосходным фоном для коллекции редкостей, собранной Энрико. Он сразу же выбрал место для превосходного средневекового буфета в промежутке между двумя высокими окнами, а над ним планировал повесить любимый мраморный барельеф Мадонны работы мастера XV столетия. Последние дни в Истхэмптоне Энрико посвятил репетициям с Фучито, проходя программу концерта. Эти концерты, услышанные мною в студии, были наверняка интереснее тех, которые слышала публика. Здесь, свободный от волнения перед залом и не утомленный поездкой, Энрико пел для собственного удовольствия и голос его звучал по-юношески свежо. Он рассказал тогда в студии об удивительном случае, совершенно неведомом публике. Он могбы петь баритоном и даже басом с таким же успехом, с каким пел тенором. Он от души смеялся, когда рассказывал, как, используя свои способности, выручил однажды приятеля-баса Андреса де Сегуролу во время спектакля «Богема» в Филадельфии. Еще в поезде Андрес внезапно охрип. Дублера на роль Коллена не было, и потеря голоса означала в данном случае непоправимую беду. Энрико рекомендовал приятелю беречь силы для арии «Vecchia zimarra» («Старый плащ») в четвертом акте. Но, выйдя на сцену, Андрес не смог последовать совету Энрико и после третьего акта вышел за кулисы, дрожа от волнения, так как хрипел, как ворона. Полакко, дирижировавший оперой, не зная об отчаянном положении баса, дал сигнал начать четвертый акт. Он увидел, как на сцену вышел Коллен. Лицо его закрывала низко надвинутая шляпа. Он вышел на передний план, неся с собой стул, снял плащ и, поставив одну ногу на стул, запел знаменитое «Прощание с плащом». После арии долго аплодировали. Коллен ушел. На сцену вышел Рудольф-Карузо, и акт закончился, как обычно. Как только занавес опустился, в уборную Энрико влетел взбешенный Полакко.

— Вы сошли с ума! — закричал он. — Если б вас узнали, спектакль мог быть сорван.

— Я хорошо подшутил над Полакко, — сказал Энрико. — Он не знал, что я могу так хорошо петь басом.

(Джеральдина Фаррар, которая хорошо помнит этот случай,

говорит, что публика никогда не замечает внезапных изменений в либретто и действии: «Однажды, когда я выступала в «Богеме» с Бончи, — рассказывала она, — последний потерял голос. Я пела третью часть партии за него, и публика не обратила на это никакого внимания».)

После этого «tour de force»[7] компания «Victor» попросила Энрико записать арию с плащом. Естественно, что ни он, ни мистер Чайлд не согласились на ее выпуск в широкую продажу: это раритет, известный лишь в узком кругу коллекционеров.

— Поступить иначе, — улыбнулся Энрико, — было бы неблагородно по отношению к басам.

Однажды в подобной ситуации он выручил свою хорошую знакомую — певицу Луизу Тетраццини. Она потеряла голос перед очень важным концертом и позвонила Энрико, прося его помочь. Он предложил ей заехать к нему перед выступлением. Луиза пришла, одетая в белое атласное платье, украшенное блестками. С плеч ее спадала горностаевая накидка. Ее полное лицо, обрамленное массой золотисто-желтых локонов, и сама она, казались круглыми, как мяч.

— Я не могу даже говорить, — прошептала она, когда мы провели ее в ванную комнату.

Энрико усадил ее на край ванны, где она сидела, похожая на надутого голубя, в то время как сам он готовил жидкость — смесь эфира и йодоформа, к которой он прибегал в критических случаях. Это средство не излечивало полностью, но часа на три восстанавливало голос. Картина была незабываемой — два знаменитых певца занимались необычным делом. Она балансировала на краю ванны, сидя с плотно закрытыми глазами и широко открытым ртом, и постоянно произносила:

— А-а-а-а-а—а-а-а-а.

Энрико, надев большие очки, с видом знатока внимательно рассматривал ее горло и нажимал на баллон пульверизатора.

За две недели до отъезда в Канаду Энрико записал в Кэмдене последнюю в своей жизни пластинку. Он пел соло из «Messe Solennelle» («Торжественной мессы») Д. Россини.

Глава 11

В поезде на пути из Монреаля в Торонто
Вторник, 28 сентября 1920года
10 часов утра
Милая Дора!

Закрывшись в купе, могу начать писать тебе письмо...

Я не ожидал такого колоссального успеха, так как чувствовал себя простуженным. Думаю, что только низкое кровяное давление не позволило мне нервничать, и я был очень спокоен, даже не попробовал голоса. Как я уже сказал, успех превзошел все ожидания. Меня ожидало около десяти тысяч человек в зале и вне него. Встретили бурей аплодисментов. Я был тронут. Начал петь арию из «Богемы», которую приняли громом рукоплесканий. Меня заставили три раза повторить ее. Публика требовала еще, но я отказался, потому что предстояло спеть еще две вещи. Все были в отличном настроении весь вечер.

Потом пел арию из «Любовного напитка» и тоже трижды бисировал. Ария из «Паяцев», которую я спел лучше, чем когда-нибудь, была встречена грандиозной овацией. Все поднялись на ноги, махали программами и платками, долго не отпускали меня. Но бисировать я не согласился. Публика поняла это и разошлась. Мы шли домой довольные, говоря, что хорошее начало

— половина дела. Мистер Коппикус заплатил мне за концерт 10 тысяч долларов. Я послал чек в банк «Коламбия» ...

С нами происходит что-то странное. Когда я не сплю, ты тоже не спишь, когда я скучаю, и ты скучаешь. Я объясняю это взаимосвязью наших чувств и мыслей. Сегодня утром, проснувшись, я распорядился, чтобы ко мне никого не пускали. Мое распоряжение не выполняется. Кто-то идет...

2 часа пополудни.

Прости, дорогая, что я заставил тебя ждать четыре часа, но ты знаешь, что когда я начинаю кого-нибудь в чем-либо убеждать, то теряю много времени. Я устал, но что поделаешь. Это была гувернантка Мимми. Он написал, что ему приходится очень много заниматься. Я не верю тому, что он занимается упорно. Тем хуже для него. Крепко целую тебя и Глорию. Твой Рико.

Отель «Король Эдуард»
Торонто
30 сентября 1920 года
22.30

Моя дорогая Дора!

Пришел домой после концерта. Только что послал тебе телеграмму, в которой сообщил, что концерт прошел удачно. Публика была несколько сдержанней, чем в Монреале, но заставила спеть на номер больше. Всего я пел девять раз (три произведения. — П.М.). Был в неплохой форме, хотя чувствовал себя несколько хуже, чем в Монреале...

Сейчас выпью молока и съем немножко салата с цыплячьим мясом, а затем лягу спать, потому что должен вставать в 6 утра, так как поезд уходит в Чикаго в 8. В Монреале я имел большой успех, но ведь всегда находятся недовольные. Одна из газет поместила рецензию не столь благосклонную, как остальные. Вообрази, в ней сказано, что как концертный певец я слабее Горгоца (очевидно, Гогорцы. — П.М.) и Юлии Кульп. Браво идиоту!

Горячо любящий Рико.

В поезде на пути в Сан-Паулу
4 октября 1920года
16 часов

Моя Дора!

...Сейчас мы едем лесом, и я вижу солнце, покрытое густыми темными тучами. Солнце еще можно увидеть, но лучей не видно. Интересное зрелище!! Впечатление, как при затмении. Очевидно, будет гроза, потому что к нам быстро приближается огромная туча. Поезд остановился, и из окна открылся очень красивый вид...

Небо нац деревьями голубое лишь на небольшом участке. Все небо покрыто тучами, сквозь которые пробирается солнце, похожее на большой арбуз. А сейчас мы едем по степи. Настоящие прерии. Совсем нет деревьев...

Как ты думаешь, откуда приходят тучи? С земли. Они поднимаются с полей и заволакивают небо. Сейчас солнце вышло из-за туч и блестит, как серебряное. Кажется, что это фейерверк...

Где вы, мои любимые? Далеко... Но вместе с тем близко, потому что я ношу вас в своем сердце.

Ваш Рико.

Сан-Паулу
5 октября 1920года
20 часов

Моя милая Дора!

Пишу тебе перед тем, как лечь спать...

Я пришел в большой клуб, куда был приглашен в качестве почетного гостя на собрание, организованное

благотворительными обществами. Я прибыл туда с Коппикусом. В большом зале собралось около пятисот человек, которые встретили меня аплодисментами. Президент спросил меня, приготовил ли я речь.

— Какую речь? — спросил я.

— Люди хотят услышать ваш голос, и, надеюсь, вы доставите нам это удовольствие.

Представляешь, какое в этот момент у меня было лицо!!

Я покраснел, потом побледнел, а импресарио заверил присутствующих, что я непременно скажу что-нибудь. После обеда, во время которого я ни к чему не притронулся, поднялся президент и объявил: «Сейчас мистер Карузо произнесет несколько слов».

Наступило глубокое молчание. Я заметил на столе какую-то бумажку с напечатанным на ней текстом и, увидев в этом способ преодолеть их настойчивые просьбы, улыбнулся и сказал:

«Леди и Джентльмены! Мистер Президент! Благодарю за честь, которую вы мне оказываете, но я нахожусь здесь не для того, чтобы говорить, а чтобы петь».

Я ожидал, что меня попросят спеть, но все молчали. Тогда мне пришлось продолжить: «Не ожидайте длинной речи. Я прочту то, что кто-то положил передо мной».

Я прочитал напечатанный на бумаге текст. Там было написано, что я одобряю деятельность благотворительных обществ, что они должны получить всеобщую поддержку, так как работают для всеобщего блага...

Мне горячо аплодировали.

Я люблю тебя, дорогая Дора! Ты вся в моем сердце. Рико.

Сан-Паулу
6 октября 1920года
15 часов

Моя Дора!

Родная моя, я снова пишу тебе, чтобы побыть немного с тобой и успокоить нервы, которые раздражает... ветер. Да, дорогая, день сам по себе превосходен, но ветер пронизывает до костей. Сегодня утром у меня было глупейшее интервью. Репортер взбесил меня своими дурацкими вопросами типа: «Почему вы позволяете, чтобы билеты на ваши концерты стоили больше, чем на концерты других артистов?» К счастью, вовремя подоспел Коппикус и все объяснил. Был задан также такой вопрос: «Разрешу ли я Глории быть акробаткой?». Я послал бы их всех к черту* если бы не получал столь высоких гонораров.

Теперь насчет автомобиля. Что за люди в гараже? Менять

гараж из-за того, что машину моют с большим количеством мыла, бессмысленно. Надо сказать, чтобы его употребляли меньше, — вот и все. Должны быть другие причины.

Я рад, что ты стала лучше играть на рояле, и уверен, что через год ты сможешь аккомпанировать мне при исполнении несложных песен.

Скучаю по тебе и твоему нежному голосу.

Рико.

Поезд на пути из Омахи в Денвер
7 октября 1920года
19 часов

Моя дорогая Дора!

Прежде, чем ночь состарится (хорошее выражение) и голова отяжелеет от усталости, хочу провести немного времени с

моей любимой. Я устал жить вдалеке от тебя, а после того, что случилось вчера вечером, чувствую, что не могу больше работать.

Вчера днем, написав тебе письмо, я стал готовиться к концерту. Я чувствовал себя немного взволнованным, так как надо было успеть собрать вещи, поскольку я планировал уехать после выступления. В восемь с четвертью мы начали. Сначала играл скрипач, потом пела сопрано, а затем вышел я, чтобы спеть арию из «Африканки». Дома, когда я попробовал распеться, всё было хорошо. Я начал арию. Голос хорошо повиновался мне. В десяти футах над моей головой висели два ряда электрических ламп и от них шел сильный жар. Я вдруг почувствовал, что мне жарко, дыхание стало затрудненным, а голос тяжелым. Вся кровь прилила к голове перед верхней нотой. В горле застрял комок, и я пустил нечто вроде петуха, от которого сразу же интонация поехала вниз. И я, и публика обомлели! Я стоял неподвижно у рояля, и в голове пульсировала кровь. Фучито подошел ко мне и помог сойти со сцены. Мне поаплодировали, но без энтузиазма. Я снова вышел петь и опять почувствовал, что голова нагревается. Только после этого я обратил внимание на лампы. Отошел немножко в сторону и жар исчез. Причина была выяснена. Я попросил поднять лампы, после чего запел, как обычно. Но публика так и не оживилась, и всему виной инцидент с лампами...

В десять часов мы закончили концерт и поспешили на станцию, где поезд уже опаздывал на двадцать минут из-за того, что ждал нас. Я послал Дзирато отправить телеграмму. Через некоторое время пришел Коппикус с ужином, но я ни к чему не притронулся. Я все время думал о том, что напишут в газетах об

этом выступлении. Мне кажется, что беду навлек тот репортер, который приходил ко мне вчера утром и спросил: «Как вам удается так долго сохранять хорошую форму, тем более, что вам приходится часто гастролировать?»

«Это оттого, что я слежу за собой», — ответил я.

А вечером произошел такой случай! Я провел скверную ночь и почти не спал... Не пойму почему, но без тебя я чувствую себя, как мальчишка без всякой опеки. Можешь ли ты это объяснить? Я старею и боюсь, что ты разлюбишь меня. Если это случится, я убью тебя, Глорию и себя.

Твой Рико.

Денвер
9 октября 1920года
23 часа

Моя дорогая Дора!

Только что окончился концерт, и я послал тебе телеграмму. Я спел одиннадцать вещей вместо трех!! Требовали еще, но все имеет границы, и, думаю, мое выступление должно было удовлетворить публику. Странно, но все знают «A vuchella» (романс Ф.П. Тости «Милые уста». — М.М.) и как только началось вступление, все зааплодировали. Голос у меня был в лучшем состоянии, чем в Сан-Паулу, да и сам я старался вовсю. Не следовало начинать турне простуженным. Мне кажется, я еще не скоро поправлюсь и, если у меня будет повышенная температура, придется отменить выступление. Здесь мы находимся на высоте около 1 000 метров над уровнем моря. Петь трудно, но я спел хорошо.

Погода восхитительная. Жарко, но дует легкий ветерок. Забыл сообщить тебе, что критики в Сан-Паулу поместили очень неплохие рецензии. Я ожидал, что меня будут ругать. В одной из рецензий написано, что мне сначала мешали электрические лампы, но после того, как их подняли, все было отлично.

...Ко мне приходил какой-то человек со своими стихами и с просьбой посодействовать переложить их на музыку. Бедняга. Он, возможно, не спал ночами. Коппикус вежливо выпроводил его.

Посылаю два чека на 10 000 и 7 000 долларов. Положи их в банк на свой счет. Завидую тебе. Ты можешь всюду бывать, есть превосходные спагетти, а здесь их трудно найти. Когда вернусь, мы пойдем в маленький ресторанчик, а потом будем гулять и говорить друг другу о любви.

Всегда думаю о вас с Глорией. Целую. Ваш Рико.

Отель «Фонтанелъ»

Омаха, Небраска
12 октября 1920 года
23.30
Моя дорогая Дора!

Только что поужинал и посылаю тебе мой вечерний поцелуй. Дыня, цыпленок, картофель, салат и виноградный сок составили мою трапезу. Полчаса назад послал тебе телеграмму о концерте, который прошел великолепно. Я спел одиннадцать вещей. (Карузо имеет в виду не только различные произведения, но и многочисленные бисы. Всего по программе он должен был петь три вещи. — П.М.) Требовали еще, но я не согласился, потому что все еще простужен и прилагаю большие усилия, чтобы благополучно допеть до конца. Я просил тебя в последней телеграмме выслать мне в Талсу чековую книжку. Мы должны быть благоразумны, и вот что я придумал. Посылаю тебе чек на 100 000 долларов, который ты должна сохранить до моего возвращения. Если со мной что-нибудь случится, ты получишь по нему деньги. То же самое сделай с книжкой, которую я вышлю тебе из Талсы. Я буду тебе высылать все чеки, которые получаю от Коппикуса... Я сейчас в дороге, и никто не знает, что может случиться. Когда вернусь домой, мы все обдумаем. Мы должны подумать о Глории...

Ты нужна мне, как вода при сильной жажде. Я хочу слушать твой нежный голос. Вы — части моего тела, и поэтому я чувствую, что мне чего-то не хватает, когда вы далеко от меня. Я никуда больше не уеду от моих любимых. Работа меня больше не интересует. Поэтому нам не надо больше расставаться. Я думаю, что даже если я не буду петь, у нас будет достаточно денег, чтобы жить и уплачивать долги. Мы уедем в мою родную страну, где будем спокойно жить. Я жду этого дня! Ты не можешь себе представить, как я буду рад, когда смогу не думать о своем голосе. Надеюсь, что Бог позволит мне дожить до такого дня, когда мое счастье будет полным. Я закрываю глаза и думаю о тебе, моя родная, мое сердце.

Всегда твой. Рико.

Отель «Талса»
Талса. Оклахома 16 октября 1920года
23.30
Моя Дора!

...Встретил мистера Хенкеля, который представил меня каким-то джентльменам и леди, имен которых я не запомнил. Они предложили показать мне нефтяной фонтан. Я отказался, подумав о концерте. Они настаивали, говоря, что такое зрелище

уникально и что на это потребуется два часа времени, причем в дороге можно будет подкрепиться. Я все же отказывался, но другие артисты согласились, и в конце концов я сдался. Через час пути мы добрались до городка Супериа, где нас ждал ланч, к тому же неплохой. Я спросил, далеко ли еще идти, на что мне ответили: «Еще немного». В два часа мы отправились дальше. Шли, шли, шли. Было около четырех, когда мы наконец добрались до места, но в каком мы были виде!! Я никогда так не спешил и не уставал. Дорога ужасная. Местность дикая и неприглядная. Я начал понимать, что концерт в опасности. Мы ожидали, что земля под нашими ногами будет колебаться, как при землетрясении; приняли всевозможные меры предосторожности, но увидели только шесть или семь небольших фонтанчиков нефти. Начинает беспокоить давление. Не могу продолжать. Очень люблю тебя. Рико.

Отель «Хакинс»
Форт-Уорт. Техас 20 октября 1920 года
20 часов

Родная моя!

Я очень расстроен, так как был уверен, что застану тебя дома, но тебя там не оказалось... Я звонил несколько раз и очень огорчен. Должна же ты когда-нибудь быть дома. Может быть, ошиблась телефонистка...

Ты, конечно, можешь всюду бывать, но знаешь, я иногда похож на ребенка, а когда ребенок не находит дома того, что ищет, он приходит в ярость. Вот так и я. Поэтому не нервничай. Я и сам понимаю, что тебе следует всюду бывать и развлекаться..: Концерт оказался лучшим в турне. Шесть тысяч слушателей неистовствовали. Голос звучал великолепно, и я остался очень доволен. После концерта был в доме сестер Фэй, где меня встретила почти вся семья. Мать — самое очаровательное создание, которое я когда-либо видел. Они все были очень милы ко мне, и я пришел домой только в четыре часа утра. Приходится прослушивать теноров и сопрано. Приходят сплошь безголосые и отнимают у меня время. Очень беспокоят репортеры, особенно в этом штате. Спрашивают, записывают, а потом поднимают меня на смех. Например, в Талсе один из репортеров спросил меня: «Бывали ли вы когда-нибудь в Техасе?». Я в свою очередь простодушно спросил его: «Аразве мы в Техасе?». «Да, конечно», — ответил он. Этот разговор опубликовали, и меня ругали за то, что я никогда в жизни не слышал о штате под названием Техас. Я хотел ответить, что не обязан знать, как называются все штаты США. В нью-йоркских итальянских газетах читал о скандале с

Тетраццини. Думаю, кто-то заплатил за то, чтобы унизить ее. Ты видишь, дорогая, в каком тяжелом положении оказываются артисты. Кому-то понадобилось столкнуть Тетраццини. А сколько раз то же самое пытались сделать со мной за 17 лет!! Почему люди проявляют такой дьявольский интерес к частной жизни артистов? Бедной толстушке приходится плохо!! Надеюсь, она сообразит не брать с собой своего Тото. День, когда я смогу сделать так, чтобы обо мне больше не говорили, будет самым счастливым днем в моей жизни. Ты знаешь, дорогая, я часто желаю, чтобы со мной что-нибудь случилось и я мог бросить то, от чего так устал. Ты можешь спросить: «Почему же я не прекращаю петь?». Я часто подумывал об этом, но меня не отпускали. Посмотрим, что будет, когда кончится контракт с «Метрополитен». Я уверен, что до окончания контракта Гатти придет с новыми предложениями. Все это ужасно, и боюсь, что и после смерти люди не оставят меня в покое. Но мы откажемся от всего, потому что хотим жить спокойно, наслаждаться жизнью и нашей Глорией, которой будем преданы всю жизнь.

Всегда с любовью думающий о вас Рико.

«Райс Отель»
Хьюстон. Техас
21 октября 1920года
15 часов

Моя дорогая Дора!

...Я пошел посмотреть зал. Он оказался очень неуютным и с плохой акустикой. Кто-то расставлял на сцене стулья. Я спросил Коппикуса, почему их здесь ставят, на что он ответил: «Стулья будут стоять всюду». Я очень разнервничался; а ведь он знал, что я не люблю, когда во время пения кто-нибудь стоит за моей спиной, и по этому поводу мы уже ругались с ним в Чикаго и Сан-Паулу. Не помню, что я сказал ему. Фучито потом передал мне, что Коппикус велел убрать стулья со сцены. Если бы я ничего не сказал, он заставил бы меня шагать через сидящих на сцене людей. Только что ушел репортер. До чего же беспардонный народ! Они стараются узнать то, чего даже я сам не знаю о себе. Я устал от них. Я вообще устал и хочу пожить в стороне от людей, чтобы забыть всех и чтобы все забыли меня.

Твой Рико.

P.S. В отеле я живу на 12 этаже в двух комнатах, которые считаются самыми хорошими и дорогими. Стоят они 50 долларов в день. Комфорта никакого. Коппикус зол, так как платит он, а не я.

В поезде по дороге из Атланты
24 октября 1920года
16 часов
Моя Дора!

Как ты думаешь, если бы машинист сошел с ума, не останавливался бы на станциях и позволил бы составу идти беспрепятственно, доехали бы мы до Нью-Йорка? Это было бы великолепно! Но — увы!!! На нашем поезде два машиниста, да и угля до

Нью-Йорка не хватило бы. Не понимаю, почему мне пришло в голову, что поезд везет меня домой? Наверное, потому что мне очень хочется там быть!!

...Очень жаль старого хозяина ресторанчика — Пане. Такова жизнь. Работаешь, работаешь, а потом шесть футов земли и прощай!! Через пять дней буду рядом с тобой и дочкой. Как мы будем радоваться!! Мы станем веселиться, как дети.

Я люблю тебя, дорогая. Твой Рико.

Отель «Селуин»
Шарлотт, Северная Каролина
24 октября 1920 года
22.15
Моя дорогая Дора!

Уже прошло полчаса, как мы приехали. Очень устал. Два дня и ночь в поезде — слишком много даже в комфортных условиях. На станции меня встретила аплодисментами толпа, ждавшая Карузо. Были слышны реплики: «Он — толстяк», «Он — великий человек», кто-то сказал: «Вот он. Теперь я могу идти спать», кто-то: «Я рад, что он здесь, потому что меня интересуют потраченные мной 75 долларов». Не знаю, что он хотел этим сказать, — очевидно, имел в виду сумму, истраченную на билеты для всей семьи. Я был очень счастлив, глядя на фотографию Глории, и плакал от радости. Я люблю тебя все больше и больше.

Я хотел бы, чтобы ты была со мной и узнала, как я люблю тебя. Я стараюсь сделать все, чтобы убедить тебя, как сильна моя любовь. Твой Энрико любит тебя с того момента, когда в первый раз тебя увидел. Когда я один, всегда вспоминаю высокую девушку с голубыми глазами и ее ласковый голос, который проник в мое сердце, как только я его услышал.

Еще пять дней!! Я счастлив!!!

Обнимаю тебя, душа моя. Твой Рико.

В поезде, идущем из Шарлотта в Норфолк
26 октября 1920года

Полдень

Моя дорогая Дора!

Я забыл рассказать тебе о том, что произошло вчера днем. После того, как я написал тебе, прилег отдохнуть на диван. Вдруг кто-то постучал в дверь. «Войдите», — сказал я.

Никто не вошел. Я открыл дверь. Никого. Я обратился к Марио, который находился в комнате напротив, и тот сказал, что видел девочку, быстро прошедшую мимо него. В коридоре никого не было. Я возвратился к дивану. Через некоторое время опять постучали. Я вскочил и открыл дверь. Опять никого. Попросил Дзирато, бывшего в комнате Марио, посмотреть в коридоре за углом. В это время из-за угла вышла девочка лет десяти. Дзирато грубо спросил, не она ли стучала в дверь.

«Вы Карузо?» — спросила девочка.

«Нет, - ответил Дзирато, - но ты не имеешь права стучать в его дверь». Я стоял у дверей и, увидев, что девочка вся дрожит, сказал: «Я Карузо. Что ты хочешь?» Она подошла ко мне, взяла мою руку и, прижавшись к ней, сказала: «О, мистер Карузо! Я только хотела узнать, как поживает ваша маленькая Глория».

Все еще дрожа, она погладила мою руку и посмотрела на меня своими большими глазами, ожидая ответа. Ты не можешь представить, какое впечатление произвело это на меня. Я приласкал ее и просил успокоиться, так как боялся, что она упадет.

Я уверил ее, что с нашей девочкой все в порядке. Успокоившись, она стала расспрашивать меня о тебе, о концерте и о многом другом. Славная девочка! Вечером на концерте принесли коробку, адресованную миссис Карузо. Я открыл ее. В ней были цветы...

Я не обратил на это внимания, потому что имени пославшего не было. Велел унести подарок. Миссис Мириам, которой я рассказал о девочке и отдал цветы, высказала предположение, что они присланы ею, так как кроме нее никто не спрашивал о тебе.

Очень мило с ее стороны. Жаль, что я не знаю ее имени, чтобы поблагодарить ее.

От души целую вас обеих. Моя золотая Дора! Я люблю тебя.

Рико.

Глава 12

Я никогда не видела Энрико таким измученным, как в день возвращения в Нью-Йорк. Турне оказалось тяжелее, чем он ожидал, а его простуда лишь усилилась. Он почти не говорил о своем здоровье, и это убеждало меня в том, что он действительно болен, потому что он жаловался только тогда, когда ничего серьезного не происходило.

Однажды, когда он пел в «Самсоне и Далиле», один из хористов случайно наступил ему на ногу. Он хромал до конца спектакля, а потом стонал в машине по дороге домой. Там его ждал врач со всевозможными лекарствами. Когда ему осторожно перевязали ногу и уложили в постель, он шепнул мне по секрету:

— Я люблю иногда наделать шуму.

На ноге не было даже маленького синяка.

Сезон начинался 15 ноября «Еврейкой», а стоял уже последний день октября. Кроме необходимости повторить партию, которую он не пел после Гаваны, у него накопилось много важных дел, ждавших его: интервью по поводу турне, переговоры со страховыми агентами по поводу кражи и с юристами по поводу контрактов, нужно было написать сотни писем, оплатить налоги и счета. В конце концов он все же обратился к врачам. Не знаю, кто ему рекомендовал доктора Х. Энрико консультировался с разными специалистами, но никто не мог понять причину его головных болей. Муж почему-то верил, что ему поможет именно доктор Х. Мне он не нравился, поскольку год назад он прописал Энрико нелепое лечение от головных болей. Оно заключалось в том, что Энрико ложился на металлический стол, а на живот ему накладывали цинковые пластинки, поверх которых помещались мешочки с песком. Через пластинки пропускался ток, мешочки подпрыгивали, и все это производило массаж. Предполагалось, что таким образом разрушается жир и это способствует уменьшению головных болей. После этой процедуры Энрико переходил в другой кабинет, где проводилось обезвоживание (дегидратация). В результате такого сеанса он сбрасывал несколько фунтов, но быстро восстанавливал их, выпивая дома очень много воды. Головные боли, конечно, не проходили. Я не смогла отговорить его от посещения доктора Х., и однажды, дождливым ноябрьским днем, Энрико отправился к нему, чтобы лечить простуду таким же способом, каким тот лечил его от головных болей.

Открытие оперного сезона прошло с обычным энтузиазмом. Спектакли неизменно сопровождались большим успехом. Наша

домашняя жизнь была спокойной и счастливой. Энрико разбирал по вечерам золотые монеты, которым предстояло пополнить его знаменитую коллекцию в Синье. Иногда рядом с нами, в отгороженном на полу месте, играла Глория. Когда она, приподнимаясь на своих маленьких ножках, звала: «Папа! Папа!», Энрико спешил к ней, брал ее на руки и покрывал лицо дочери поцелуями. Приближалось Рождество. Энрико составил большой список имен — тех людей, которым он всегда что-нибудь дарил. Когда он прочел его мне, я испугалась:

— Рико! Ведь ты любишь далеко не всех этих людей!

— Конечно, нет, — ответил он, — но они ждут подарков.

Приобретать с Энрико рождественские подарки доставляло мне большое удовольствие. Он покупал, что задумывал, никогда не спрашивая о цене, причем только в двух магазинах: своем любимом антикварном и в магазине Тиффани. У Тиффани он покупал золотые сувениры для тех, кто не любил старинных вещей, а в антикварном — вещи для тех, кому не нравились сувениры. Его доброе лицо светилось теплой улыбкой, выражавшей то, что он чувствовал, — истинно рождественское настроение и счастье. В своем отороченном мехом пальто он казался очень крупным, когда расхаживал по магазину. Вот он остановился у прилавка, рассматривая что-то в витрине:

— Посмотри, Дора! Какие чудесные коробочки для пудры и помады.

Продавец заметно оживился. С его лица сбежало скучающее выражение. Энрико указал на коробочки не пальцем, а всей рукой — жест, который мне показался символом безграничной щедрости его сердца. Он тщательно осмотрел узоры и выбрал четыре образца.

— Мы возьмем 50 таких, 30 таких, 10 таких и одну такую.

Продавец сказал, заикаясь, что должен посмотреть, найдется ли такое количество. Мы прошли к отделу, где продавались портсигары, и там в ответ на его просьбу последовала такая же реакция. Затем мы выбирали браслеты и ожерелья. К этому времени все уже знали, что Карузо покупает рождественские подарки, и хозяин магазина вышел приветствовать нас.

— Очень вам обязан, — сказал Энрико, дружески здороваясь с ним за руку, — я хочу сделать специальный заказ.

Мы сели за стол, и Энрико сделал набросок золотого брелока к часам — подарка, который он хотел преподнести в этом году своим близким друзьям.

— Сделайте и пришлите мне 20 таких брелоков.

Мы пожали всем руки и вышли от Тиффани, не задумываясь о том, сколько денег истратили, и направились в антикварный

магазин. Там Энрико выбирал вещи в соответствии со вкусом тех, кому они предназначались.

— Они ужасны и не нравятся мне, но их собирают и находят в этом какой-то интерес.

Однако существовал один человек, подарок для которого он выбирал так, будто собирался поместить его в свою коллекцию. Это была пожилая знатная дама — миссис Огден Гёлет. Энрико очень хорошо относился к ней, и они в течение многих лет оставались друзьями. У нее была первая ложа в «Золотой подкове», и Карузо всегда улыбался ей, выходя на сцену. После каждой премьеры он посылал ей клавир с автографом, а она звонила по телефону, чтобы поблагодарить его за великолепное пение. Однажды мы пригласили ее на ланч в наш излюбленный маленький итальянский ресторанчик. Ей понравилось там. Энрико с сыновней нежностью наблюдал, как ее маленькие ручки в белых замшевых перчатках справляются с большим блюдом спагетти.

Последним нашим делом в этот день было посещение банка, где мы забирали мешочки с золотыми монетами, которые предназначались для хористов, служащих «Метрополитен» и всего персонала.

Однажды во время прогулки по парку Энрико почувствовал озноб. Вместо того чтобы вернуться домой, он настоял на том, чтобы пойти к врачу, который применил свое обычное ужасное лечение, после чего с раскрытыми порами Энрико вышел на улицу. Никто не знает, почему певцы более чувствительны к холоду, чем остальные люди: возможно, страх простудиться повышает их уязвимость. Вечером Энрико ощутил тупую боль в левом боку и начал кашлять. На следующей неделе ему предстояло петь в «Паяцах». Я знала, что он будет настаивать на своем участии в спектакле, хотя изо дня в день кашлял все сильнее. Я находилась в нервном напряжении, которое вскоре стало постоянным спутником нашей жизни. В день спектакля я заметила, что по его лицу иногда пробегала тень страдания, а уходя в театр, он сказал:

— Дора, не опаздывай в театр и молись за меня.

Когда он вышел на сцену и посмотрел на меня печальными глазами, я почувствовала, что не могу сидеть спокойно. Я ненавидела всю эту публику — восхищенные лица, горевшие нетерпением, казавшиеся масками на фоне черного зала. Сердце мое сжалось, но все, что мне оставалось, — это сидеть спокойно и улыбаться. Он начал петь «Vesti la giubba», а я, не отрываясь, следила за его движениями и выражением лица. Он дошел до верхнего ля, и вдруг звук оборвался.

Из ложи я видела, как он покачнулся и упал за кулисы, где его подхватил Дзирато. Занавес сразу же опустился. Я поспешила к нему, и когда прибежала за кулисы, он уже пришел в сознание.

— У меня сильно заболел бок, — объяснил он, — возвращайся в ложу. Увидев тебя, все поймут, что со мной все в порядке.

Пришел доктор Х. Он забинтовал Энрико бок и сказал:

— Ничего серьезного. Небольшой приступ межреберной невралгии. Он может продолжать петь.

Публика, взволнованная слишком большой паузой, сразу же заметила, когда я вошла в ложу.

— Он споткнулся, - объяснила я сидевшим в соседней ложе.

Скоро об этом узнал весь театр. Затем потух свет и начался второй акт. Он пел, не подавая вида, что его мучит боль.

Когда зажегся свет, я услышала, как какая-то женщина говорила:

— Удивительный спектакль. Было бы жаль во всех отношениях пропустить его.

После спектакля Энрико сказал:

— Надеюсь, что больше не почувствую такой боли. Я ощутил невероятную слабость, и все вокруг почернело.

Через три дня он должен был петь в самой утомительной для него партии Неморино в «Любовном напитке» в Бруклинской музыкальной академии. Врач сказал, что Энрико чувствует себя достаточно хорошо, чтобы петь, но я не могла найти себе места от беспокойства. Как обычно, перед спектаклем я зашла к нему в уборную. Он стоял около умывальника и полоскал горло. Вдруг он сказал:

— Посмотри.

Вода в тазу порозовела.

— Дорогой мой, — сказала я, — ты слишком усердно чистишь зубы.

Он еще раз набрал воду в рот и выплюнул ее. На этот раз вода была красной. Я велела Марио позвонить доктору и попросить его принести адреналин. Энрико продолжал молча полоскать горло. Окончив полоскание, он сказал мне:

— Дора, иди на свое место и не уходи, что бы ни случилось. Зрители будут следить за тобой. Не подавай повода к панике.

Я повиновалась, дрожа от страха, вспомнив, как он однажды сказал:

— Тенора иногда умирают на сцене от кровоизлияния.

Я сидела в первом ряду. Занавес поднялся с опозданием на четверть часа, из чего я заключила, что доктор приходил.

Энрико выбежал на небольшой деревенский мостик, смеясь и

стараясь выглядеть как можно глупее и беззаботнее. На нем был рыжий парик, чесучовая блуза, коричневые штаны и полосатые чулки. Из кармана торчал большой красный платок, а в руке он держал небольшую корзинку. Публика горячо зааплодировала. Выйдя на авансцену, он начал петь. Закончив фразу, Энрико отвернулся и вынул платок. Я услышала, как он кашлянул, но, услышав реплику, спел свою фразу и отвернулся снова. Когда он опять повернулся лицом к залу, я увидела, что по его одежде течет кровь. В зале зашептались, но замолчали, когда он запел. Из-за кулис протянулась рука Дзирато с полотенцем. Энрико взял его, вытер губы и... продолжал петь. Скоро

сцена вокруг него покрылась малиново-красными полотенцами. Наконец он закончил арию и ушел. Закончился акт, и занавес опустился. Вне себя от ужаса я сидела, боясь пошевелиться. Долгое время в театре было тихо. Как в пустом доме. Затем, как по сигналу, начался шум. Слышались крики: «Не разрешайте ему петь! Прекратите спектакль!». Кто-то дотронулся до моего плеча:

— Я судья Дайк, миссис Карузо. Позвольте мне проводить вас за кулисы.

Мы медленно шли по проходу, но, выйдя в коридор, я побежала в гримерную Энрико. Он лежал на диване. Выражение ужаса было написано на лицах всех людей, окружавших его. Доктор Х. объяснил, что лопнула небольшая вена у основания языка. Помощник директора «Метрополитен» мистер Зайглер уговаривал Энрико ехать домой.

Впервые в жизни он не протестовал и согласился с тем, что публику придется распустить. По дороге домой он не сказал ни слова, а сидел с закрытыми глазами, держа меня за руку. Когда мы подъехали к отелю, он несколько пришел в себя. Со своей обычной силой убеждения он настоял на том, чтобы доктор и Дзирато поднялись к нам. Он отказался лечь в постель и сидел за столом, пока мы ужинали. Было рано для вечерней трапезы, и он не курил. Если бы не это, казалось бы, что это обычный ужин после спектакля. Через час он лег в постель и сразу же заснул. Я не могла уснуть. Около трех часов ночи я услышала, как он сказал:

— Мне не хватает воздуха.

Он встал и подошел к открытому окну. Посмотрев вниз, он начал залезать на подоконник. Не могу понять, как я успела вовремя подбежать к нему. Обняв руками, я стащила его на пол. Не сказав ни слова, он лег в постель и снова уснул. Возможно, он бредил. Мы никогда не вспоминали об этом случае. На следующий день ему стало легче и он отказался оставаться в

постели.

Продолжались приготовления к Рождеству — Рождеству невеселому, потому что Энрико не мог скрыть своего скверного состояния. Доктор все еще утверждал, что у него лишь «межреберная невралгия», и стянул Энрико грудь, наложив на нее полоски липкого пластыря. 13 и 16 декабря он пел в таком панцире. 21-го он должен был петь в «Любовном напитке», но утром боль так сильно мучила Энрико, что я сама послала за доктором Х. Он посмеялся над нашими опасениями, сменил пластырь и снова промычал что-то про «межреберную невралгию». В течение дня неоднократно заходил Гатти, и около 16 часов мы все поняли, что Энрико не сможет петь вечером. Через три дня он почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы петь в сочельник «Еврейку».

Первую в жизни Глории рождественскую елку установили в гостиной. Это было высокое дерево, украшенное блестками, колокольчиками и яркими звездами. Она сидела на высоком стуле, глядя на елку, а когда вошел отец, восторженно закричала, указывая на разноцветные игрушки.

— Тебе нравится? — спросил он, садясь рядом с ней. — Мне тоже.

Они вместе наблюдали за тем, как Марио подвешивал последний сверкающий шар. Они были очарованы друг другом, и это взаимное очарование усиливало их сходство. Оно так поразило меня, что я сказала об этом вслух.

— Но у нее нет вот этого, — указал Энрико на выемку на своем подбородке. — Говорят, что она свидетельствует о сильном характере, но я открою секрет. У меня она указывает на глупую голову. Когда я был маленьким мальчиком и жил в Неаполе, я взял как-то большой кусок хлеба и уселся на пороге, чтобы поужинать. Хлеб был очень сухой, и я решил смочить его. Для этого мне надо было добраться до фонтана. До него оказалось довольно далеко, и я прицепился сзади к какому-то экипажу, но не удержался и упал, ударившись подбородком. Я получил рану, потерял хлеб и отправился домой в слезах. Этим шрамом я обязан глупой голове, потому что не Бог, а я сам стал причиной его появления.

Хотя в течение суток перед спектаклем Энрико чувствовал только тупую боль в боку, мне не хотелось, чтобы он пел в сочельник. Гатти тоже очень волновался и пришел к нам как раз в тот момент, когда у нас находился доктор.

— Голос у него в порядке, — так звучало заключение врача.

Это оказался единственный спектакль Энрико в Нью-Йорке, на котором я не присутствовала, кроме тех, что я пропустила в

связи с рождением Глории. Когда он ушел в театр, мы с Эрикеттой и Брунеттой принялись сооружать в гостиной грандиозную «рождественскую панораму». Электрические лампочки мы развесили на камине так, чтобы освещать фигурки королей и пастухов с подарками в руках.

Я пригласила друзей Энрико прийти к нам после спектакля на ужин, похожий на тот, который всегда устраивался в этот день в Неаполе. Были угри, приготовленные пятью способами, горячий и холодный осьминог и всякого рода мелкая рыба, жареная и сушеная.

Мне не казалось особенно вкусным ни одно из этих блюд. Когда Энрико вернулся, я встретила его у входа. Глаза его смотрели бодро, но лицо имело землистый цвет, как будто его кровь вдруг стала серой. Он был тронут «панорамой», восхищен ужином и рад друзьям, но не веселился, как бывало, от всей души.

— Я думаю, будет лучше, если я выпью только чашку бульона, — сказал он.

Доктор Х. тоже присутствовал — единственный случай, когда он оказался полезен, так как вытащил рыбью кость у меня из горла. Когда все ушли, я спросила Энрико, как прошел спектакль.

— Все остались довольны, — ответил он, — но бок сильно болел.

Это был его последний спектакль, а я не слышала его.

Рождественский день начался прекрасно. Весь дом был залит солнечным светом и наполнен запахом ели. С восьми утра постоянно звенел звонок — приносили подарки, цветы, телеграммы. Энрико вошел в гостиную, где я сидела с Глорией, неся в руках большую коробку.

— Надеюсь, тебе это понравится. Я искал эту вещь два года и нашел только в Южной Америке.

В коробке находилось замечательное меховое пальто из шиншиллы ценой в несколько тысяч долларов. Я так обрадовалась, что не смогла сказать: единственный подарок, который мне нужен, — его здоровье. Глории он подарил длинную нить янтарных бус.

— У нас, в Италии, говорят, что янтарь предохраняет от болезней горла.

На столе лежала куча открытых коробочек. Энрико подошел к сейфу и достал золото. Он высыпал на стул Глории горсть сверкающих монет.

— Играй ими, Пушина, — сказал он и обратился ко мне:

— Я быстро оденусь, Дора, и мы отнесем подарки в театр. Ты успеешь наполнить коробочки?

Я ответила, что не задержу его, и он вышел. Дочка играла монетами, а я стала наполнять коробочки: 100 долларов для Филиппа, старого реквизитора, 50 для парикмахера, по 5 долларов каждому хористу... Я уже приближалась к концу длинного списка, как вдруг услышала крик Энрико и выбежала из комнаты. Опять крик. Я подбежала к его комнате одновременно с Марио и Дзирато. Крики неслись из ванной. Марио распахнул дверь и вытащил Энрико из ванны. Вместе с Дзирато они дотащили его до дивана. Энрико сел на край дивана и наклонился вперед.

Струи пота текли по его лицу и капали на пол. Я подбежала к телефону, и через пять минут прибыл доктор Марри — врач отеля. Он ввел Энрико кодеин и через несколько минут повторил инъекцию. Постепенно Энрико перестал стонать.

— Теперь он уснет, - сказал доктор, - позовите его врача. Если я понадоблюсь, то буду в своем кабинете.

Через десять минут Энрико открыл глаза и застонал. Дзирато, который не нашел доктора Х., яростно звонил одному врачу за другим. Я уже не могла выносить стонов, нашла в ванной комнате бутылку с эфиром, смочила в нем платок и поднесла его к лицу Энрико. Он потерял сознание, но продолжал так жалобно стонать, что я заткнула уши пальцами. Вдруг отворилась дверь, я увидела высокого мужчину.

— Я доктор Эванс, — сказал он.

Он быстро осмотрел Энрико и сразу же поставил диагноз.

— Миссис Карузо, у вашего мужа острый плеврит, который может перейти в воспаление легких.

Он повернулся к Марио и Дзирато.

— Отнесите его в комнату и уложите в постель. Подложите побольше подушек. Потом позовете меня. А сейчас позвольте посмотреть ребенка.

Я сразу же почувствовала облегчение, принесенное уверенностью этого человека. Через час около Энрико уже дежурила опытная сиделка, и я немножко освободилась. Я собрала разбросанные монеты, отослала их в театр, привела в порядок цветы, о которых все забыли. Доктор в последний раз осмотрел Энрико. Испуганные слуги легли спать. Пожелав Нэнни спокойной ночи и поцеловав дочку, я вернулась в гостиную. Вокруг елки и на столах лежали нераспечатанные пакеты с подарками. Энрико спокойно спал. Рождество окончилось, и все в доме успокоилось.

Глава 13

На следующее утро доктор Эванс созвал консилиум врачей — Самуэля Лемберта, Антонио Стеллу и Фрэнсиса Марри. Все они пришли к общему мнению — острый плеврит, перешедший в бронхиальную пневмонию. Я не подозревала, что плеврит может дать столь серьезные осложнения. Через три дня, когда сиделка и я находились у кровати Энрико, он вдруг начал задыхаться. Лицо его почернело.

— Скорее кислородную подушку, - закричала медсестра.

К счастью, в этот момент вошел доктор Стелла. Он вынул из сумки иглу и воткнул ее в спину Энрико. Как только жидкость вытекла, его лицо приобрело обычную окраску и он стал легко дышать, Я поняла, что стала свидетельницей того, как к Энрико приблизилась, а затем отошла смерть. Врачи решили, что для предотвращения подобных кризисов нужна операция. Мы обратились к известному хирургу доктору Джону Эрдману, и вскоре наша гостиная превратилась в операционную. Энрико хотел обязательно знать, что с ним будут делать. Я объяснила, что у него на спине сделают разрез, чтобы удалить жидкость, оставшуюся в плевральной полости.

Я не присутствовала при операции, но доктор Эрдман сказал мне, что, когда он сделал разрез, жидкость вырвалась с такой силой, что забрызгала стену. Удалили около галлона (4,5 литра) жидкости и между ребрами вставили дренаж. Доктор Стелла объяснил мне, что, к счастью, у Энрико ребра расположены на большом расстоянии друг от друга, иначе пришлось бы удалить часть ребра. Операция прошла успешно. Через два дня температура стала нормальной, а рана перестала беспокоить. Доктор Стелла поздравил Энрико с тем, что его ребро не пострадало.

— Вы хотите сказать, что я мог бы навсегда утратить возможность петь? - испуганно спросил Энрико.

Доктор засмеялся:

— Можете не беспокоиться. Ваше ребро цело. Вы будете петь еще лучше, чем раньше.

С того момента, как Энрико заболел, я испытывала потребность уладить одно щекотливое дело. Оно касалось доктора Х. Он считал себя нашим основным врачом и приходил поэтому в самое разное время, будил Энрико и сидел допоздна. Он говорил, что не разделяет мнения других врачей, и настаивал на том, что у Энрико «межреберная невралгия», вероятно, осложнившаяся «кишечной токсемией». После каждого его визита

бедный Энрико чувствовал себя встревоженным и сбитым с толку. Однажды, обнаружив, что он дал Энрико какое-то лекарство, не поставив в известность других врачей, я решила, что настала пора действовать. На следующий день я поджидала доктора Х. Никогда я не ощущала в себе такого гнева, как тот, который почувствовала, увидев его.

— Доктор Х. Я не хочу, чтобы вы приходили сюда. Прошу вас уйти и никогда не возвращаться.

Мой голос дрожал. Он не ответил мне, а направился к комнате Энрико. Я преградила ему путь.

— Если вы сделаете еще один шаг, я прикажу выбросить вас в окно.

Больше я его никогда не видела.

В течение последующих недель Энрико был терпеливым больным, повиновавшимся каждому слову врачей. Но он возражал против сиделок. Он не мог понять, почему посторонние женщины должны находиться рядом с ним, и его раздражали уверения в том, что это их обязанность. К нему вернулась властность.

— Дора, — сказал он, — объясни вежливо синьорите, что я не хочу, чтобы она находилась в гостиной. Ты и Марио останетесь со мной, а когда будет нужно, мы ее позовем.

Я купила ему маленький золотой колокольчик, чтобы он мог вызывать меня, но редко слышала его звон. Каждый день я завтракала вместе с ним. Он обычно ел то, что ему готовил Марио: это были блюда его детства — такие, как чечевичный суп и манная каша. Днем он развлекался лепкой из глины и рисованием карикатур на врачей и сиделок. Гатти, взволнованный и нервный, был одним из немногих посетителей, которым разрешалось видеть Энрико. Приходил также мистер Чайлд, поздравивший Энрико с выпуском 28 из 40 пластинок, предусмотренных десятилетним контрактом.

Я думала, что он уже почти здоров, как вдруг однажды утром, в начале февраля, у него опять подскочила температура. К вечеру она поднялась до 40 градусов. Снова собрались врачи, а я, сидя в гостиной, ждала их решения. Доктор Лемберт ободряюще взял меня за руку и сказал:

— Недостаточен дренаж. Доктору Эрдману придется завтра снова оперировать.

Когда он добавил:

— Не беспокойтесь. Нам часто приходилось удалять ребра, — я поняла, что решается вопрос жизни и смерти. Мы решили не говорить Энрико об операции до утра, чтобы не волновать его с вечера. Когда все врачи и анестезиолог были в сборе, а операционный стол приготовлен, я пошла к Энрико. Он выслушал

меня, не перебивая, а затем обратился к доктору Эрдману:

— Я хочу знать, что будет со мной. Отошлите всех и скажите, что операция состоится завтра.

На следующее утро, 12 февраля, доктор Эрдман снова раскрыл рану. В глубине раны находилось густое содержимое, удалить которое можно было лишь с помощью более эффективного дренажа. Для этого следовало устранить около четырех дюймов (10 см) ребра...

Я просила врачей не говорить о случившемся Энрико. Доктор Марри остался со мной, и мы вместе ждали, когда Энрико

проснется после наркоза. Проходили часы, но он все еще не приходил в сознание. В восемь вечера опять собрался консилиум. Решили, что он находится в коматозном состоянии.

— Миссис Карузо, вы должны попытаться разбудить его любым способом, — сказал мне доктор Стелла.

Я звала Энрико по имени, целовала его бесчисленное множество раз. Марио плакал, прося его заговорить, а Дзирато умолял вернуться к нам. Но глаза Энрико безразлично смотрели из-за полузакрытых век, а губы произносили странные звуки: «ба-ба-ба-ба». В ту ночь у нас остался доктор Марри. Пригласили еще двух сиделок. Каждый день я подносила к его постели Глорию и даже послала в Калвер за Мимми, тщетно надеясь, что голоса детей достигнут его сознания. Постоянно звонили из газет, и в конце концов издатели попросили меня разрешить репортерам остаться в доме. Они заняли столовую. В каждом выпуске газет сообщалось о состоянии здоровья Энрико. Управляющий отеля рассказал мне, что ежедневно сотни людей справляются о состоянии Карузо и уходят со слезами на глазах. Каждое утро шестеро простых итальянских рабочих, прокладывавших трубопровод на 34-й стрит, заходили в отель, прежде чем отправиться на работу, чтобы узнать, как провел ночь Карузо. Что касается меня, то я не замечала ни дня, ни ночи. Так прошло десять дней. Врачи сделали все, что могли, и угроза смерти миновала. Я смотрела на лицо, страшно осунувшееся и потерявшее всякое выражение: оно стало неузнаваемым. Энрико не шевелился. Казалось, что он не дышал. Только слабые движения губ, произносивших «ба-ба-ба-ба», показывали, что он еще жив.

На десятый день в полдень, когда мы с доктором Стеллой находились у постели Энрико, Дзирато доложил о том, что итальянский посол просит разрешения повидать больного. Доктор вышел из комнаты и через минуту вошел с Роландо Риччи, послом Италии в США. Это был высокий стройный мужчина с красной гвоздикой в петлице. Не сказав ни слова, он

поцеловал мне руку и долго смотрел на Энрико. Затем, наклонившись к его лицу, он сказал негромким, но твердым голосом:

— Карузо! Я пришел от имени твоей страны и твоего короля. Они хотят, чтобы ты жил.

Прошло несколько минут... и я услышала слабый голос:

— Позвольте мне умереть на родине.

— Последний раз я слышал вас в Лиссабоне в «Кармен», — сказал посол. Он вынул из петлицы гвоздику и вложил ее в руку Энрико.

— Не в «Кармен». Шла опера «Сид», — прошептал Энрико.

Он хотел поднести цветок к губам, но не смог. Глубоко вздохнув, он уснул и спал на сей раз спокойно и без стонов.

Во время болезни Энрико со всех концов мира приходили тысячи писем. Дети писали, что они молятся за него, католические священники и раввины обращались к прихожанам с призывами молиться за жизнь Энрико. Простые итальянцы предлагали древние способы лечения: массаж с луком и листья салата на шею. Присылали освященные четки и медали, священные картины и даже мощи святых. Я развесила все это на стене вокруг изображения Мадонны и, как только Энрико оказался вне опасности, написала всем письма, в которых благодарила за участие. Однажды, когда я писала в студии письма, открылась дверь и вошел какой-то человек. Он быстрыми шагами подошел ко мне и громко сказал:

— Я Иисус Христос. Я пришел, чтобы повидаться с Карузо.

— Вам надо поговорить с его секретарем, — ответила я и послала за Дзирато. Этот случай подсказал мне, что надо поставить у дверей охрану, и я вспомнила о человеке, который стал бы охранять Энрико, не щадя своей жизни. Это был старый Скол — глава клаки «Метрополитен» по вечерам и мастер по производству зонтиков днем. Я не знала человека, который любил бы Карузо сильнее, чем этот маленький немецкий еврей. После каждого спектакля он ждал Энрико у служебного входа, чтобы открыть дверь его машины и услышать любимый голос:

— А, Скол. Спасибо. Спокойной ночи.

Однажды он был вознагражден. Энрико собирался напеть для компании «Victor» песню «Eli, Eli» на еврейском языке. Мы возвращались тогда в Нью-Йорк поездом, Энрико послал Дзирато, чтобы тот привел Скола в наше купе. Скол сел на край сиденья, ожидая, что скажет Энрико. Со своим длинным, спокойным, плоским лицом и шапкой седых волос он выглядел, словно иллюстрация к старому стихотворению для детей.

— Скол, вы можете научить меня произносить эти слова?

Маленький Скол взял нотный лист, протянутый ему Энрико, и прочел текст.

— Да, могу, синьор Карузо.

Он научил Энрико правильно произносить все слова, затем встал, поклонился и ушел. Заметив выражение гордости и достоинства на его лице, Энрико сказал:

— Скол — мой настоящий друг.

Таков был Скол, на которого пал выбор: ему предстояло сидеть за столом у нашего входа с книгой для записи посетителей. Он перестал быть специалистом по зонтам. Он стал архангелом Михаилом, охраняющим небесные врата.

Глава 14

Когда Энрико настолько окреп, что смог ненадолго вставать с постели, сделали рентгеновские снимки. Они показали, что его левое легкое уплотнено. Естественно, мы скрыли от него этот факт и приняли меры, чтобы он никогда не увидел этих снимков. В самом начале выздоровления он стал жаловаться на странные ощущения в правой руке.

— Что случилось с моими пальцами? — спрашивал он у врачей. — Я чувствую в них покалывание, как в ногах, когда они затекают.

Врачи не могли объяснить этого, а ощущение становилось все тягостней и рука заметно похудела. Я часто замечала, что он удивленно смотрит на свою руку. Он почти никого не принимал и быстро уставал. Однажды я вывезла его в кресле-каталке в сад, расположенный на крыше, но это не доставило ему радости.

— Подожду, пока сам смогу ходить, — сказал он с болью в голосе. С того дня он начал понемногу ходить, опираясь на мою руку. Он рассматривал присланные вещи, висевшие на стене.

— Как много людей молятся за меня... Странно.

Он часто говорил о поездке в Италию, просматривая ботанические справочники и выбирая, что посадить в саду в Синье. Названия цветов, которые он собирался выращивать, он сообщал Мартино по телеграфу. Ему доставляло радость рассказывать о родной стране, о ее цветущих полях, о спокойной деревенской жизни. Я вспомнила, как однажды мы шли с ним по дороге над Неаполитанским заливом и увидели мальчика, очень славного, но грязного и плохо одетого. Увидев нас, он протянул руку, прося подаяния.

— А если я не дам тебе денег, что тогда? — спросил Энрико.

— У меня останется солнце, синьор.

Этот мальчик был частью той Италии, по которой тосковал Карузо.

Как-то днем, когда я играла с Глорией, вошла медсестра, держа в руках термометр.

— Сколько? — спросила я.

— 39,5.

Я послала за врачами. Доктор Эрдман определил, что образовался глубокий абсцесс в подреберной области, вызванный просачиванием содержимого из плевральной полости. Он решил снова оперировать, но на этот раз без наркоза, потому что сердце у Энрико стало совсем слабым. Я ужаснулась.

— Это будет не очень тяжело?

— Не знаю. Сделаю все, что смогу, — ответил он.

Когда я рассказала об этом Энрико, он со слезами на глазах умолял не разрешать терзать его снова. Пока врачи готовили инструменты, я стояла перед ним на коленях, глядя на его измученное лицо. Две сестры держали его нош, а я голову. Доктор Эрдман ввел кокаин, подождал, пока он подействует, затем взял скальпель... Энрико душераздирающе закричал.

Через несколько минут абсцесс был вскрыт, а рана протампонирована. Спустя сутки температура стала нормальной, и в течение двух дней он чувствовал себя хорошо. Но на следующей неделе образовался новый абсцесс. Снова последовала операция, а через десять дней еще одна. Лишь любовь придавала мне мужества, и я присутствовала при каждой операции. Четвертый абсцесс оказалось трудно обнаружить, и мучения Энрико были нечеловеческими. Но даже в крике его голос звучал великолепно. Когда хирург решил отложить вмешательство на следующий день и забинтовал рану, Энрико посмотрел на него измученными глазами.

— Спасибо. Простите.

Слезы текли по щекам врача, пожимавшего протянутую Энрико руку.

Ночью у Энрико скакала температура, и его состояние резко ухудшилось. Около двух часов ночи, когда я находилась в студии, стараясь разобраться в показаниях термометра, вошел доктор Стелла и позвал меня:

— Скорее, миссис Карузо. Плохо с сердцем. Он может умереть. Не испугайте его.

Я села на стул около кровати и прислушалась. Он еле дышал. Ввели под кожу эфир и камфорное масло. Я смотрела на его неподвижное тело, покрытое простыней, на его исхудавшее лицо и думала, что если я буду сидеть неподвижно, моя сила, молодость и здоровье вольются в него, что только я в состоянии спасти его...

Семь часов просидела я без движения. Я слышала, как сестра сказала:

— Пульс улучшился.

А потом слова доктора Стеллы:

— Думаю, он будет жить.

Доктор Марри дотронулся до моей руки.

— Все в порядке, миссис Карузо. Пойдите и отдохните. Уже девять часов.

Я дошла до двери и... упала в обморок. Когда я открыла глаза, то увидела, что лежу на диване в детской, где Нэнни кормила Глорию. Малышка завтракала.

— Она уже съела яйцо, — сказала Нэнни.

Чудесная, обычная жизнь детской!

В это утро доктор сразу же обнаружил абсцесс, но, хотя гной удалось полностью удалить, состояние больного не улучшилось и решили произвести переливание крови. Донором стал Эверетт Уилкинсон из города Меридэн (штат Коннектикут), который потом говорил:

— Я не согласился бы поменяться в тот день местом с самим королем Англии.

— Кто же я теперь такой? — спрашивал Энрико. — У меня теперь не чисто итальянская кровь.

С того дня он начал поправляться и врачи сказали, что спустя несколько недель он сможет выехать в Италию, если будет серьезно следить за своим здоровьем. Мне кажется, что само разрешение на выезд в Италию способствовало улучшению его состояния. Мы планировали отдыхать в течение года: провести два месяца в Сорренто, где есть возможность принимать грязевые ванны, чтобы подлечить руку, а осенью ко времени сбора винограда отправиться в Синью. Первый день урожая всегда торжественно празднуется крестьянами. В этот день женщины надевали яркие косынки и грубые полотняные блузы, выстиранные до молочной белизны, и черные юбки, спускавшиеся ниже колен, но оставлявшие голыми голени. Мужчины надевали большие соломенные шляпы, украшенные длинными лентами. Когда все бывало готово, выходили мы, желали богатого урожая и торжественно срывали первую гроздь винограда. Целое утро все смеялись и пели, нагружая виноградом бочки, стоявшие на невысоких тележках, запряженных быками. Потом крестьяне отжимали сок ногами, как делали это столетиями, хотя Энрико установил соковыжималку. Они отказались и от молотилки, привезенной из Америки, хотя и восхищались ею, и молотили цепами. В полдень мы посылали на виноградники хлеб, сыр и фляжки с прохладным вином. Поев и попив, крестьяне ложились спать в тени виноградных лоз. В сумерках скрипящие телеги направлялись на ферму. Рядом с ними с песнями шли крестьяне. Их голоса смешивались с монотонным жужжанием пчелиных туч, роившихся у бочек со сладким виноградом.

В начале мая Энрико велел Марио и Пунцо начать собираться в дорогу, а Фучито укладывать ноты. Он часто сиживал за роялем, просматривая стопки нот, которые ему прислали во время болезни, и тихонько насвистывал. Как-то раз я увидела, как он писал что-то в чековой книжке, с трудом держа ручку между большим и указательным пальцами. Рядом лежала пара желтых перчаток.

— Только она не желает поправляться, — сказал он, глядя на свою трясущуюся руку. - Я буду носить перчатки. Никто не сможет понять причину, и все будут говорить: «Странный человек Карузо. Он носит дома перчатки». Тебе нравится эта мысль?

Он не подозревал, что не только рука, но и все его тело сильно изменилось. Одно плечо опустилось, и оттого, что он не мог стоять прямо, он казался ниже на несколько дюймов. Лицо осунулось и постарело. Движения стали медленными и осторожными, как будто он постоянно боялся боли.

— Я плачу врачам, — сказал он как-то, — но не вижу счета от моего главного доктора. Он не приходит больше.

— Я не хочу даже думать о нем, — сказала я.

— Но я должен ему чем-то отплатить, Дора. Он старался делать добро. Мы пойдем к ювелиру, и я куплю его жене подарок на сумму в 15 000 долларов. Это меньше, чем я плачу другим врачам.

Известие о том, что Карузо впервые выйдет из дома, быстро распространилось, и когда мы вышли из лифта, нас ждала толпа, собравшаяся приветствовать Энрико. Он медленно шел, опираясь на мою руку, и улыбался. Полицейский старался удержать людей, собравшихся на улице.

— Милые люди, — сказал Энрико, — они не забыли меня.

Он не знал еще, как весь мир был взволнован его болезнью,

так как ему не разрешали показывать письма и телеграммы, полученные за прошедшие пять месяцев.

— Сначала мы пойдем в театр, — сказал Энрико.

На пути к «Метрополитен» сотни людей узнавали и приветствовали его. Он выглядел прежним Карузо, когда здоровался с поздравлявшими его служащими театра. Он держался прямо, а голос звучал уверенно. Король оперы вернулся к своим подданным.

В ювелирном магазине, пока он выбирал, что купить, я увидела маленькую платиновую цепочку, ценой в сто долларов, очень подходившую к часам, которые он привез мне из Гаваны. Я спросила его, не сможет ли он купить мне ее. Он ответил не сразу.

— Дора, дорогая. Ты знаешь, что я не пел всю зиму. У меня много расходов: я должен платить докторам...

— О, Рико! Мне совсем не нужна эта цепочка. Пожалуйста, не думай об этом.

Я сгорала от стыда, что оказалась такой безрассудной, когда ему предстояло оплачивать такие огромные счета. Я буквально ненавидела себя, пока ждала его в машине. Выйдя из магазина, Энрико предложил погулять полчаса. В парке он вынул из

кармана коробочку.

— Это подарок тебе, — сказал он.

— О! Платиновая цепочка!!! .

Я открыла коробочку и вынула... бриллиантовую нить длиной более метра.

— Это я дарю тебе, потому что ты впервые попросила меня что-то купить тебе, а это, — он подал мне вторую коробочку, — потому что ты так ласково попросила меня.

Во второй коробочке оказалось кольцо с превосходной черной жемчужиной. Я взяла его руку в желтой перчатке и прижала ее к своей щеке.

Все мы — Глория, Нэнни, Брунетта и Марио, Энрикетта и Пунцо — были готовы плыть на борту парохода «Президент Вильсон». Мимми остался, так как собирался в летний лагерь. Уже запаковали 38 чемоданов, и только чемодан с нотами еще не был собран. Мы взяли кроватку Глории, складную коляску, игрушки, коробки с кукурузными хлопьями и бутылки с молоком от фирмы «Уолкер-Гордон». В тот момент, когда я заказывала по телефону молоко, в комнату вошел Энрико.

— Когда я был ребенком, меня не кормили специальным молоком.

— Тебя кормила мать?

— Нет, у матери было мало молока. Она родила кучу детей: двадцать мальчиков и одну девочку. Я был девятнадцатым по счету мальчиком. Одна женщина, графиня, очень благосклонно относилась к моей матери. У нее умер ребенок, и она очень горевала. Мать обратилась к ней: «У меня нет молока для маленького Энрико. Не могли бы вы кормить моего малыша?» И она кормила меня своим молоком. Может быть, поэтому я отличаюсь от всех в нашей семье.

Накануне отплытия мы в последний раз вышли прогуляться. Энрико сказал, что ему надо зайти в одно место, чтобы уплатить по счету.

— Пойдем сначала туда. Я не хочу оставаться должником.

Я не знала, что мы пошли к одному из врачей, имевшему рентгеновский аппарат. Врача не застали, и нас принял его молодой ассистент. Мы уже попрощались и уходили, когда тот остановил нас.

— Между прочим, мистер Карузо, ваше ребро уже выросло на полдюйма.

Мое сердце дрогнуло.

— Мое ребро?

То, что произошло потом, нельзя было предотвратить. Молодой врач принес снимки и показал их Энрико. Когда дверь

за нами закрылась, Энрико пристально посмотрел на меня.

— Дора! У меня нет ребра!!!

Я взяла его за руку и повела к машине.

— Не вернуться ли нам домой? — сказал он. - У меня нет сегодня желания гулять.

По пути домой он молчал. Я тоже, потому что ничто не смогло бы его утешить. Дома он сразу направился в студию, где Фучито упаковывал ноты.

— Не трудись, Фучито, — сказал он. — Я решил не брать с собой ничего.

Он медленно подошел к роялю и осторожно закрыл крышку.

Глава 15

Мы прибыли в Неаполь, когда заходило солнце. Вдали дымился Везувий. Рядом с нами стоял Пунцо, глядевший как зачарованный на свой родной город, освещенный золотым сиянием. Во время путешествия он был невероятно рассеян и постоянно забывал, что ему говорили. На этот раз Энрико вспыхнул.

Ты опять лентяйничаешь, как обычно? Где твоя голова? Ты забыл, что надо работать? Иди и собирай вещи.

Когда он ушел, Энрико сказал:

— Бедный Пунцо. Я купил ему и его жене дом в Неаполе и положил на их имя деньги в банк. Мы никому не скажем, что он был моим слугой, а будем говорить, что он мой ассистент. Пунцо — гордый человек, а здесь его дом.

Отдохнув несколько дней в Неаполе, мы поплыли через залив в Сорренто, где сняли этаж в отеле «Виктория». Энрико очень нравилось, что все комнаты выходили на крытую террасу с видом на Средиземное море и Неаполь вдали. Рядом с нашей спальней находилась комната, в которой Энрико отдыхал и смотрел на итальянское небо, по которому так скучал. Гостиная была обставлена довольно странной мебелью в стиле Людовика XVI. В ней стоял большой позолоченный рояль. Мне сначала это не понравилось, но когда Энрико объяснил, почему ему нравится эта комната, я изменила свое мнение. Он сказал:

— Эти стулья такие жесткие и неудобные, что те, кто станет приходить к нам, не будут долго задерживаться.

Мы обедали на веранде. Там же Энрико учил Глорию первым итальянским словам и ходьбе. Он отдыхал и спал целую педелю, после чего почувствовал себя настолько хорошо, что решил выйти в сад и даже осмотреть город. Доктор Стелла предупреждал меня, что Энрико ,не следует переутомлять свое сердце. В то же время он советовал не говорить об этом Энрико, так как это может задержать выздоровление. Поэтому я не сообщала об этом ни его родственникам, ни друзьям, зная, что они могут проговориться. Он знал только то, что в центре последнего разреза есть незаживший участок — не больше булавочной головки, и каждое утро я смазывала его йодом, а потом перевязывала.

Мы посетили превосходный старый магазин белья. Энрико любил и собирал полотняное белье, и хотя одна из комнат в Синье уже напоминала склад текстиля, мы купили несколько дюжин прекрасных кружевных скатертей, вышитых монахинями. Он объяснил, что все это полежит до замужества Глории.

Население относилось к нему с не меньшим почтением, чем к кардиналу. Все улыбались и приветствовали его. Дети робко протягивали букеты цветов и отказывались от платы. Каждый день рано утром из Аяно на пароходе привозили горячую грязь. Марио приносил ее на террасу, и Энрико грел руку и пил кофе. Он был убежден, что эго ему поможет. Каждый день мы ходили купаться на отмель, где рыбаки оставляли на ночь свои лодки. Иногда они брали нас с собой. Энрико загорел, и рубец на спине очень сильно выделялся. Рыбаки часто смотрели на него, но пи о чем не спрашивали.

В отеле мы познакомились с итальянским послом во Франции Романо Авеццаной и его женой американкой Жаклин, а на следующий день Энрико пригласил их на ланч. В то утро мы стояли на террасе и рассматривали пассажиров, прибывших из Неаполя. Особое внимание привлекли двое. Один был высоким и худым, с прилизанными седыми волосами и загорелым лицом. Другой — невысоким, но также с длинными волосами и очень громким голосом. Он был одет в полотняную куртку, рукава которой выглядели непомерно длинными. Очевидно, они были неаполитанцами, так как жестикулировали всем телом. Я уже приготовилась произнести: «Что это за пугала?», — как вдруг Энрико закричал:

— Эй, Араките!! Я сейчас спущусь!

Это был старый сержант, который впервые привел его на урок пения к маэстро Верджине. Когда я спустилась вниз, Энрико сообщил, что пригласил их на ланч.

— Но ты уже пригласил посла с женой.

Что же с того? Они будут рады познакомиться с моими старыми друзьями. Мы все станем друзьями.

Я решила, что он поступил неправильно, но ошиблась.

Достоинство, с которым он представил своих старых друзей новым, сломало барьеры: не стало ни знатности, ни рангов. Все чувствовали себя очень свободно и понимали, что он рад им всем. Когда неаполитанцы ушли, Энрико сказал:

— Маленький все еще носит куртку, которую я дал ему. Я сказал, что он выглядит смешно, но он ни за что не хочет переделывать ее.

Прошло несколько недель — прекрасных спокойных дней и длинных лунных ночей, но вдруг в июле из Нью-Йорка приехала компания друзей, объявивших о своем намерении провести несколько недель с нами. Энрико огорчился тем, что наше спокойствие нарушилось, но в то же время был рад вновь видеть друзей. Они нарушили наш спокойный режим, убедили его совершать с ними длительные прогулки и устраивать обеды на

террасе, перед которой собирались крестьяне, певшие неаполитанские песни и танцевавшие тарантеллу. Я не знала, что предпринять. Иногда я жаловалась, что очень устала, и Энрико был вынужден отказываться от их предложений. Они объясняли это моим желанием удержать его возле себя и рассказывали о забавах, которые он пропускал. В конце концов, даже Энрико стал упрекать меня:

— Ты хочешь помешать мне проводить весело время? Не следует лениться и упускать возможность увидеть что-нибудь интересное. Я скажу друзьям, что завтра мы будем завтракать с ними на Капри.

Во время завтрака он смеялся и весело болтал, но вдруг замолчал.

— Я устал, — сказал он, — пойдем домой.

Его старались удержать, но он ушел, не попрощавшись и даже не поблагодарив, Когда мы пришли в отель, я сразу же уложила его в постель.

— Ты права, Дора, — сказал он. — Я еще не совсем поправился.

Два дня он оставался дома, но друзья поджидали его с новыми планами. Они знали, что он собирается помолиться за свое выздоровление в церкви Помпейской Мадонны, и предложили сопровождать его. Кроме того, они хотели посмотреть развалины Помпеи. Тогда я решила рассказать им о предупреждении доктора Стеллы. Я отозвала их в сторону и объяснила, что такая прогулка может привести к серьезным последствиям. Они посмеялись над моими страхами и стали убеждать меня не относиться к нему, как к больному. «Он чувствует себя хорошо и сказал, что поправился на двадцать пять фунтов».

Дорога, ведущая из Сорренто в Помпею, окружена стенами, достаточно высокими, чтобы скрывать то, что происходит за ними, но недостаточно высокими, чтобы предохранять от лучей палящего солнца. За ними виднелись верхушки апельсиновых деревьев, по ним карабкались розы, покрытые пылью. Двое толстяков из нашей компании, ехавшие с нами, настолько изнывали от жары, что подложили под шляпы мокрые платки. Мы подъехали к церкви. Прошли по длинному коридору к алтарю. Вместе со священником Энрико прошел в ризницу. Он довольно улыбался, когда вернулся:

— Ecco![8] Я поблагодарил Мадонну.

В ресторанчике было так же жарко, как на улице. Через окно проникал запах пыли и ослиного пота. В комнате слышалось непрерывное жужжание мух. Нас было восемь человек, и мы сели

за большой стол, уставленный деревянными тарелками с салями, маринованной рыбой и кружками с красным вином. За спиной Энрико стоял мальчик, держа в руках палку с бумажными лентами, чтобы отгонять от него мух. Энрико с отвращением посмотрел на пищу.

— Я не буду это есть, — сказал он. — Мы с мадам хотим, чтобы нам подали цыплят и салат.

В то время, как другие принялись за спагетти, Энрико выпил стакан воды и попросил мальчика прекратить махать палкой.

Когда принесли цыпленка, он осмотрел его и сказал: «Пахнет».

Все остальные продолжали есть. Их лица раскраснелись и вспотели. Они вытирали их платками и салфетками. Энрико съел персик и сполоснул руки в чашке с прохладной водой.

Известие о нашем появлении, как всегда, бежало впереди пас. У руин нас поджидали. После рукопожатий, поздравлений и долгих речей нам сказали, что этот же день выбрал для посещения развалин наследный принц Японии Хирохито, который уже спрашивал о Карузо. Я поняла, что опять понадобятся усилия со стороны Энрико, но была не в состоянии что-либо предпринять. В довершение всего он отказался от крытых носилок и пошел пешком по утомительной каменной дороге. Мы встретили Хирохито и сопровождавших его людей у нового раскопанного карьера. Тонкошеий будущий император Японии взглянул на нас сквозь толстые очки и довольно резко кивнул. Он даже не улыбнулся и не протянул руки. Мы наблюдали, как рабочие откапывали статую и бронзовую вазу. Энрико прошептал:

— Они закопали ее специально этой ночью.

Ничего не подозревавший Сын Неба пришел в восторг.

Мы шли по великолепным улицам, проходили мимо вилл, дворцов и храмов, которые стояли без крыш под ярким южным небом.

Находиться на развалинах Помпеи и в прохладный день утомительно, а в середине июля просто невозможно. Раскаленные камни жгли ноги сквозь обувь, а колонны вдалеке, казалось, плавились в жарком воздухе. Энрико больше не мог идти. Пришлось послать за носилками. Около ворот нас ждала повозка, возле которой стоял какой-то юноша. Он подошел к Энрико.

— Синьор Карузо, вы прослушаете меня и скажете свое мнение о моем голосе, если я приеду в Сорренто?

Мне кажется, я никогда не видела такого печального выражения лица у Энрико, когда он ответил, что будет ждать его на следующее утро. В отеле Энрико сразу же лег. Я долго просидела в ют вечер на террасе, глядя на огни Неаполя и с

ужасом ожидая утра.

Я проснулась раньше Энрико. Он вышел на террасу несколько более бледный, чем обычно, но сказал, что выспался.

— Довольно. Я больше не буду совершать таких длительных экскурсий.

Мы выпили кофе и стали ждать юношу. Я думала, что он принесет с собой ноты неаполитанских песен, и ужаснулась, увидев в его руках клавир «Марты» — одной из самых любимых опер Энрико.

— Какой у вас голос? Баритон?

— Нет, синьор Карузо, тенор.

— Значит, вы поете мою партию. Ну, попробуем.

Мы прошли в салон. Энрико сел за рояль.

— Я не могу аккомпанировать. Возьму только несколько аккордов

Ни голос, ни глаза его ничего не выражали.

Как он сможет вынести все это? — подумала я.

— Я попробую спеть «M'apparі»[9], - сказал юноша, и Энрико взял аккорд. С первой же ноты стало ясно, что у молодого человека нет голоса. Энрико остановил его, попросил не волноваться и начать снова. Я ушла в свою комнату. Они разговаривали. Потом юноша опять начал петь. Я услышала голос Энрико: «Нет! Нет!». Они замолчали. И вдруг я услышала такой голос!!!!! Я вбежала в салон. Там стоял Энрико и пел так, как никогда раньше. Голос звучал лучше, чем когда-либо. Кончив петь, он всплеснул руками. Лицо его просияло.

— Дора. Я могу петь!! Я могу петь!! Я не потерял голос!!

Глава 16

Музыка опять вошла в нашу жизнь. Весь тот день Энрико говорил о пении не как о тяжелом и ответственном труде, а как об источнике жизни и счастья. В тот же вечер я велела поставить внизу на террасе фонограф, и после обеда Энрико устроил прослушивание пластинок для посла и его жены. На звуки отовсюду сходились люди. В полночь Энрико послал Марио за танцевальными пластинками, пригласил всех присутствующих потанцевать, а сам пожелал всем спокойной ночи. Я наблюдала, как он лежа читал газету, и заметила, что его глаза не двигались по строчкам.

— Как ты себя чувствуешь, Энрико?

— Хорошо, — ответил он, слегка вздохнув. — Я думаю о том времени, когда наша Глория дорастет до дверной ручки. Знаешь, я не думаю о смерти, но мне жаль, что я не увижу, как наша девочка вырастет.

На следующий день мы с радостью узнали, что Джузеппе Де Лука — баритон из «Метрополитен» — остановился на лето в Сорренто. Это был спокойный симпатичный человек, которого мы оба очень любили. В тот день он пришел к нам и долго беседовал с Энрико о предстоящем сезоне и о великих певцах прошлого. После его ухода я пошла на пляж, а Энрико прилег отдохнуть. Когда я вернулась, Марио сказал мне, что у Энрико посетитель. Я вошла в комнату и увидела, что Энрико лежит в кровати. Какой-то старик склонился над ним. Он держал грязными пальцами зонд.

— Этот человек лечил мою покойную мать, — сказал Энрико.

— Что он собирается делать?

— Я покажу ему свой рубец...

— Ему следовало бы вымыть руки.

— Я знаю, но не хочу ущемлять его самолюбие.

Старик ничего не понял из нашего разговора и прежде, чем я смогла его остановить, приподнял корочку над ранкой и ввел в нее зонд, отметив глубину ранки грязным ногтем большого пальца. На следующее утро у Энрико поднялась температура до 39,5 градусов.

Инфекция дала новую вспышку. Я предложила послать за доктором, но Энрико отказался. Он был утомлен, взволнован и, что хуже всего, испуган. В отчаянии я послала за Де Лукой и рассказала ему о случившемся. Он сказал:

— Это может быть весьма серьезно. Мы должны послать в Рим за братьями Бастинелли. Они — лучшие врачи в Италии. Я

скажу Карузо, что вы плохо выглядите, оттого что переживаете за него, и сможете успокоиться только тогда, когда приедут эти врачи.

Я приняла его план, и он отправился к Энрико. Через час они позвали меня.

— Моя бедная Дора. Джузеппе сказал, что ты переживаешь из-за меня. Завтра я приму врачей, и ты снова будешь спокойна.

На следующий день приехали знаменитые врачи. Они свободно говорили по-английски, и я смогла рассказать им все о болезни Энрико и показать лабораторные анализы. Я думала, что они будут долго обследовать его, но уже через двадцать минут один из них вышел на террасу и негромко сказал:

— Мадам Карузо. Возьмите себя в руки. Ваш муж нуждается в удалении почки. Он должен прибыть в Рим в нашу клинику на операцию.

Я была ошеломлена.

— Когда?

— В четверг на следующей неделе.

Я сказала, что боюсь ждать целую неделю, потому что температура повышается с каждым часом.

— Может быть, привезти его завтра?

— У вас будет для этого достаточно времени в течение недели.

Ночью в субботу у Энрико начался бред. Он все время бормотал:

— Соль, перец... Перец, соль...

Я боялась коллапса, потому что никакие меры не приводили к снижению температуры. Я велела Марио, чтобы тот принес бокал виски. Энрико медленно выпил его. Через несколько минут он начал так сильно потеть, что простыня буквально прилипла к его телу. Температура стала снижаться, и он уснул. В ту же ночь я пришла к выводу, что не могу брать целиком на себя ответственность за его жизнь. Я позвонила в Неаполь его брату Джованни и сказала, что отказываюсь ждать еще четыре дня до помещения Энрико в клинику, просила его заказать специальный вагон из Неаполя в Рим, снять комнаты в отеле «Везувий» в Неаполе, где мы остановимся на ночь, и немедленно приехать в Сорренто, чтобы помочь нам. Рано утром в воскресенье прибыл Джованни, а в полдень мы отплыли в Неаполь.

Энрико лег спать с температурой 40 градусов, но утром я нашла его сидящим в постели. Он попросил привести Глорию, немного поиграл с нею, поцеловал и отпустил. Это было 1 августа, когда в Неаполе очень мало людей. Я вышла на балкон и наблюдала, как мальчуган внизу ел арбуз.

— Хорошая вещь - арбуз, — сказал Энрико. - Ешь, пьешь и умываешься.

По улице прошло стадо коз, потом продавец лимонов... В комнате было прохладнее.

— Я опущу шторы, и ты, может быть, уснешь, — сказала я, как вдруг Энрико испуганно посмотрел на меня и вскрикнул. Марио сразу же побежал искать врача. Все повторялось, как в рождественские дни. Энрико вскрикивал при каждом вздохе. На этот раз эфира не оказалось, и я могла помочь ему только тем, что вытирала его вспотевшее измученное лицо. Вернулся Марио и сказал, что все посыльные отправлены за врачами, но большинство медиков выехало на лето за город. Испуганный хозяин отеля пришел сообщить, что он велел известить все больницы и что кто-нибудь из врачей обязательно придет. Но... никто не шел.

Спустя час Энрико стонал, как измученный зверь: его голос больше не походил на человеческий, а стоны превратились в протяжный вой. Прошло два часа, но врачей все не было. Я умоляла Джованни привести зубного врача, ветеринара или медсестру — любого, кто мог бы ввести морфий. Казалось невероятным, что в таком большом городе, как Неаполь, где все преклонялись перед Карузо, ни одна душа не могла прийти к нему на помощь и облегчить его страдания. Энрико мучался уже четыре часа, когда пришел первый врач, но, увы, без морфия!!!

Когда он вернулся с морфием, его руки так дрожали, что он не мог сделать укол. Мне пришлось самой взять шприц. Через десять минут Энрико перестал стонать и погрузился в забытье. После этого, один за другим, приехали еще шесть врачей. Они осмотрели Энрико и собрались в салоне, чтобы обсудить положение. Через час они позвали меня и сказали, что собираются удалить почку в тот же вечер, но боятся давать наркоз. Они сказали, что в случае, если сделать операцию, он будет мучиться от болей в течение двух недель, но в конце этого срока появится

один шанс из тысячи, что он будет жить, но если операции не делать, он не доживет до утра. Я должна была принять решение и обратилась к брату Энрико.

— Джованни. Что делать?

Джованни держал в руках платок и плакал. Он не сказал ничего, а опустил голову и зарыдал.

— Его спасли в Америке. Почему вы не можете этого сделать?

Врачи покачали головами, они ждали ответа. В конце концов я сказала:

— Делайте то, что вы считаете необходимым. Но прежде чем

удалить почку, сделайте разрез под рубцом. Вы найдете там абсцесс размером с грецкий орех. Вскройте его и вставьте дренаж, через сутки он будет вне опасности. Я беру ответственность на себя. Если вы не обнаружите абсцесса, удаляйте почку.

Они обсуждали мое предложение еще час, а потом сказали, что оперировать вообще бесполезно. Я умоляла их сделать операцию, но они не слушали меня. Они отказались сделать даже переливание крови. Согласились только с тем, что нужно дать кислород. Каждой клеткой своего тела я трепетала за его жизнь, как это было в ту долгую ночь в Нью-Йорке. Я стояла около него на коленях. Шли часы... Доктор стал считать пульс. Я услышала, как стенные часы пробили девять. Энрико открыл глаза и посмотрел на меня.

— Дора Я... хочу. пить.

Он закашлялся.

— Дора они.. снова будут резать?

Он начал задыхаться.

— Рико, родной. Не бойся. Все будет хорошо.

— Дора я ....не... могу вздохнуть.

Я увидела, как закрылись его глаза и упала рука. Закрыв лицо руками, я подумала:

— Наконец-то ему хорошо.

Мне хотелось выйти на воздух, но я знала, что меня никто не поймет. Откуда-то неслись звуки рыданий. Бормоча молитвы, вошли две монашки. Я поднялась и вышла, боясь оглянуться назад.

Глава 17

Я ушла в соседнюю комнату, где сидела Брунетта, старавшаяся скрыть свои слезы. Какие-то плачущие люди выходили ко мне из комнаты Энрико. Они молчали, и я не знала, кто они такие. Какой-то священник сел рядом со мной и спросил, не может ли он сделать что-нибудь для меня. Он сказал, что много лет знал Энрико и очень его любил. На следующее утро из Сорренто приехала баронесса Авеццана. Она купила мне длинную креповую вуаль. Я сказала ей, что Энрико перенесли вниз, в зал отеля, и что у меня не хватает мужества увидеть его еще раз, чем очень недоволен Джованни. Я даже не в состоянии плакать, и могут подумать, что я бесчувственна и холодна. Баронесса поняла меня и сказала, что пойдет в зал, а затем скажет, что мне делать. Вернувшись, она рассказала, что Энрико усыпан прекрасными цветами и кажется спокойно спящим. Но в то же время она выразила мнение, что Энрико наверняка предпочел бы, чтобы я запомнила его таким, каким он был — полным жизненной силы и искусства. Весь Неаполь говорит о том, — продолжала она, — что король предоставил для погребения дворцовую базилику в церкви «Сан Франческо ди Паола». Это была большая честь, так как там хоронили только членов королевской семьи. Я одна во всем городе отнеслась к этому безразлично. Там было много королей, но будет только один Карузо. Хотя я знала, что он лежит мертвый внизу и что толпы людей приходят посмотреть на него в последний раз, я не верила тому, что он никогда больше не войдет ко мне и не скажет с улыбкой:

— А, ты здесь, моя Дора!

Я ждала, когда он очнется от своего беспробудного сна.

В день похорон жизнь города замерла. Флаги были приспущены, магазины закрыты, на их дверях было написано: «Lutto per Caruso» («Траур по Карузо»). В одиннадцать часов раздался погребальный звон, и я впервые вышла в свет без Энрико. Его мачеха, брат и старший сын ждали меня. На площади перед церковью солдаты с трудом сдерживали огромную толпу. Когда я вышла из экипажа, двое солдат вынуждены были прокладывать мне дорогу. Огромные деревянные двери церкви были закрыты. Солдаты застучали в дверь прикладами ружей, а толпа закричала: «Дорогу вдове!»... В конце длинного прохода у алтаря стоял высокий катафалк, заваленный цветами. На нем я увидела небольшой гроб. Под звуки органа я прошла на свое место. Началась месса...

Когда я выходила из церкви, яркий солнечный свет ослепил

меня. Какой-то незнакомый человек подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек. Джованни ударил его по руке и сказал так, чтобы все могли его слышать:

— Ты забрал у меня брата и хочешь забрать сестру?

Он залился слезами и закрыл лицо платком с черной каймой. В экипаже на пути к кладбищу он перестал плакать вытер свое раскрасневшееся лицо и лоб под шляпой.

— Прекрати представление, — сказала ему мачеха, и они начали яростно ссориться.

Все в зелени и цветах лежит на окраине Неаполя кладбище «Дель Лланто». Именно там, в часовне, предоставленной нам пока не будет построена собственная, я оставила Энрико.

Я не вернулась в отель, а направилась в тихую гостиницу

Бертеллини, где меня ждали Марио, Брунетта и Нэнни. Глория встретила меня у дверей. К плечикам ее белого платьица были приколоты два крошечных черных банта. Было отрадно смотреть на небо и море и не слышать никаких звуков, кроме голосов моих дорогих слуг и ребенка. По вечерам Брунетта сидела около меня, шила и молчала, если я не заговаривала с ней. Марио накрывал для меня стол в одной из небольших комнат. В этой комнате обитала маленькая мышка, которой я бросала крошки. Я хотела приучить ее брать пищу из моих рук и каждый вечер бросала крошки все ближе к стулу, на котором сидела но она боялась отбегать далеко от норки...

Я понесла огромную потерю, но не была одинока.

Прошло несколько дней, прежде чем я узнала, отчего умер Энрико. Причина заключалась не в воспалении почки, а в перитоните, развившемся от прорыва в брюшную полость абсцесса, находившегося там, где я предполагала. Операция на которой я настаивала, могла спасти его. Было бесполезно предъявлять претензии Бастинелли. Врачи могут ошибаться. Что же касается неаполитанских врачей, то собственное невежество и высокое положение больного ввергли их в такой страх, что они не осмелились взять на себя ответственность за последствия операции.

Страшно горюя, я не могла говорить об Энрико и старалась не вспоминать прошедшего. Все же каждый день я часами просиживала за столом, отвечая на письма. Они приходили отовсюду, от самых разных людей, любивших его божественный голос. Одно из посланий пришло из Германии. В нем было написано: «Еду» и стояла подпись «Скол». Он все не приезжал, а когда наконец появился, рассказал, что выехал из Германии в день смерти Энрико, но был арестован на границе. Он вез с собой все свои сбережения - 5000 долларов, но не знал , что нельзя

вывозить деньги за границу. Его посадили в тюрьму, все деньги забрал и, и у него не осталось ничего, кроме костюма, который был на нем. Обо всем этом он рассказал очень кратко а потом замолчал.

— Могу ли я увидеть его? — спросил он наконец.

Я сказала, что не пойду с ним, но он может увидеть Энрико, лежащего в стеклянном гробу. Он поблагодарил меня и ушел на кладбище. Вернувшись, он долго стоял, глядя в небо, около меня на террасе и после долгой паузы произнес:

— Я наклонился к нему и прошептал: «Вы узнаете бедного старого Скола?». Но он не ответил мне.

Это было все, что он сказал, но с этого момента я обрела способность плакать. Я посоветовала ему остаться в Неаполе и сказала, что возьму его с собой в Америку.

В сентябре я отправилась в Синью. Впервые я осталась одна — без итальянских родственников, банкиров и юристов — и могла подумать о возвращении домой. Мартино показал мне цветы, посаженные по распоряжениям Энрико, присланным из Нью-Йорка. Они цвели прямо перед окном моей комнаты. Я обошла весь дом: кухни и кладовые, погреба и пустые комнаты. Все находилось в образцовом порядке. Из Сорренто было получено белье, купленное нами. Я распаковала его. С рояля я убрала ноты, забытые Энрико. Я знала, что в один прекрасный день вновь услышу его голос, записанный на пластинки. Мысль, что это может случиться в чужом доме, была невыносимой. Я должна была приготовить себя к этому испытанию здесь, пока я одна. Как-то днем я отослала всех слуг, выбрала одну из самых веселых его песен — «Luna d'estate»[10] и завела граммофон. Его голос снова зазвучал в комнате, сердце мое сжалось. Я слушала, почти ничего не соображая, пока не увидела Глорию, вбежавшую, споткнувшись о порог, с протянутыми руками и кричащую: «Папа! Папа!».

Все дела были закончены. Настала пора уезжать из Италии. Марио и Брунетта просили разрешить им проводить меня во Францию и заботиться обо мне до отплытия в Америку. Марио не хотел служить никому после Энрико и собирался устроиться на работу в один из магазинов Флоренции. Я подумала, что для Брунетты будет лучше, если у него в распоряжении окажется собственный магазин, и купила ему его.

Старый Скол ждал нас в Гавре. Когда корабль уже собирался отплывать, Марио обратился ко мне:

— Синьора, мы с Брунеттой просим вас о последнем одолжении.

Я пообещала исполнить все, что в моих силах. Марио взял

Брунетту за руку и сказал:

— Можно нам теперь иметь ребенка?

В памяти возник Энрико, сидящий за конторкой, разрешивший им, наконец, пожениться, но предупредивший, чтобы они не заводили детей.

Каждое утро на палубе Скол подходил ко мне, кланялся и спрашивал о моем здоровье. Он носил пальто Энрико, которое я подарила ему. Оно доходило ему до пят, но он не обращал внимания на свой странный вид, ведь он носил память об Энрико.

Глава 18

Ясным октябрьским утром мы с Глорией прибыли в Нью-Йорк. Дзирато был первым, кто поднялся к нам на палубу. Как и в прежние дни, он стоял рядом со мной в то время, пока репортеры и фотографы толпились вокруг, задавая обычные вопросы. Эти люди составляли часть жизни Энрико, и они согревали мое грустное возвращение домой. Он часто говорил, что им приходится много работать, прежде чем сделать хороший снимок или написать статью. Поэтому я отвечала на все вопросы и позировала вместе с Глорией, как это делал Энрико. Я поселилась около Центрального парка, куда могла ходить гулять с Глорией в Сент-Риджис. Глории было уже около двух лет, и парк казался ей сказочным местом. Возвращаясь с прогулок, она рассказывала о ручных белочках и плавающих лебедях. У Дзирато осталось немного работа, но мне было приятно слышать из соседней комнаты стук его машинки. Как-то утром он принес мне список людей, живущих в Италии, которым Энрико помогал в течение ряда лет. Кроме родственников, там значились имена ста двадцати человек, оказавших ему в прошлом самые разнообразные услуги, которых он никогда не забывал. Он ни разу не говорил со мной об этом, как и о многих других добрых деяниях, которые были для него обычным делом.

Только теперь я поняла, как защищал меня Энрико от других людей. В течение трех лет я смотрела на них издалека и его глазами. Теперь они оказались рядом. Я хотела покоя, чтобы привести в порядок свои мысли, но любопытство людей делало это невозможным. Будучи королем певцов, Энрико принадлежал всем в той же степени, что и мне. Все ожидали, что я буду вести себя не как молодая женщина, потерявшая мужа, а как овдовевшая королева. Все говорили только о том, что мир потерял великого певца, так как никто, кроме меня, не знал о его колоссальных человеческих достоинствах и способности бесконечно любить. Сначала, когда меня просили рассказать о нашей совместной жизни, я отвечала всем. Мне казалось, что я видела Энрико, когда говорила о нем. Рассказывать о нем стало частью моей жизни, но вскоре этим перестали интересоваться. Я поняла, почему Энрико старался изолировать меня от людей.

Летом я поехала в Неаполь, чтобы увидеть его могилу. Она находилась в чудесном склепе, сделанном из белого камня и расположенном в тени кипарисов. Над саркофагом стояла статуя Мадонны. Я не пошла к саркофагу, потому что не хотела видеть лица Энрико. Хотя я просила закрыть фоб, его родственники не

согласились на это. Показывать тела умерших знаменитостей — итальянский обычай. Это шокировало приезжавших из других стран, где нет такого обычая. Лишь через восемь лет, когда я обратилась к правительству при посредничестве принца Барберини, мне удалось добиться, чтобы саркофаг закрыли.

Единственным человеком на свете, который знал, как я переживала потерю Энрико, была Жаклин Авеццана. Каждую весну я приезжала к ней в итальянское посольство в Париже. Она и ее муж стали самыми близкими моими друзьями. Мы вместе проводили лето в Венеции. Однажды осенью, перед моим отъездом в Америку, Жаклин заговорила о том, что мне стоило бы снова выйти замуж. Мне шел тогда тридцать первый год, и она говорила о времени, которое нам с Глорией предстоит провести в одиночестве. Следующей весной она умерла. Я стала еще более одинокой и решила последовать ее совету. Замужество, к несчастью, оказалось неудачным, но у Глории появилась сестра, которую я назвала именем моей умершей подруги.

Я не смогла бы справиться с управлением делами виллы «Беллосгуардо» и многочисленных ферм в Синье до совершеннолетия Глории. Поэтому я отдала поместье семье Энрико, а сама решила жить в Нью-Йорке. Большая часть коллекций Энрико была вверена попечению его старого слуги Мартино. С начала войны я не получала от него известий. Я отдала часть костюмов мужа кое-кому из певцов, но никогда не расстаюсь с белым кашемировым костюмом, который он носил в «Паяцах». Король Виктор—Эммануил приобрел его коллекцию древних золотых монет для пополнения своей. Я купила дом и старалась найти свое место в окружавшей меня жизни. Это оказалось невозможным. Мой дом превратился в тюрьму. Когда я возвращалась в него, побывав где-нибудь, я погружалась в тишину своего заброшенного мирка. Это была гнетущая и безжизненная пустота. Когда все становилось невыносимым, я уплывала в Европу с детьми и Нэнни. Обычно я направлялась в Сорренто и с той самой террасы, где мы жили с Энрико, наблюдала, как на море спускается ночь. В том же самом маленьком магазине я покупала белье и заказывала тем же монахиням изготовление свадебной вуали.

Прошло двенадцать лет после смерти Энрико. Глории было 13 лет, а Жаклин — 7, когда меня опять уговорили выйти замуж. Я послушалась, и снова мой брак оказался неудачным. Очевидно, иначе и быть не могло. Смерть не расторгла моего союза с Энрико. Остальные казались тенями в сравнении с его вечной реальностью, и превращение тени в реальность было невозможно.

Вот уже двадцать три года, как умер Энрико, но я все еще

получаю письма от незнакомых мне людей, любящих и помнящих его. Они вспоминают о встречах с ним, о том, как он рисовал на них карикатуры, просят подтвердить ту или иную легенду о нем, предлагают памятные вещи, сохраненные ими. После войны многие спрашивали о его могиле. Однажды я получила письмо из Неаполя от неизвестного мне американского солдата:

«Имя Карузо — неотъемлемая часть этого города. В первый же день, когда я вышел осмотреть Неаполь, гид в соборе «Сан Франческо ди Паола» сказал, что здесь проходило отпевание Карузо. Через неделю мне удалось найти сержанта, с которым я смог поехать на машине на кладбище, где мы искали могилу Карузо. Было поздно. Шел небольшой дождь, и на кладбище было очень тихо. Мы оба никогда не забудем момента, когда гид подвел нас к великолепному белому мавзолею и гордо произнес: «КАРУЗО».

Почтив молчанием память великого человека, мы с сержантом устало пошли обратно, обрадованные тем, что война не уничтожила все эти святыни, которые люди создали, чтобы вспоминать о прошлом и вдохновляться ими на будущее».

Больше половины своей жизни я живу воспоминаниями о трех недолгих годах, которые хотела забыть сразу после смерти Карузо и которые потом постоянно воскрешала в памяти. Эту книгу я закончила писать в день его рождения — ему был бы сейчас семьдесят один год. Я сижу около радиоприемника и слушаю его великолепный голос. Идет передача, посвященная Карузо. Он был бы взволнован и сказал бы:

— Я рад, что меня помнят, хотя прошло так много лет.

25 февраля 1944 года.
Нью-Йорк.

notes

Примечания

1

После первой мировой войны Италия была охвачена волной социальных волнений и бунтов, что использовал Б. Муссолини для организации в октябре 1922 г. похода 60 000 фашистов на Рим и захвата власти.

2

Опера Жака Галеви, в котоорой Карузо готовил партию Элеозара

3

Синьор командор (ит.) — уважительное обозначение хозяина

4

Игра слов — Трепьеди по-итальянски «трехногий», Ванпьеди (англ. и шли.) — «одноногий» {прим.ред.).

5

«Большое спасибо, большое спасибо» (исп.).

6

Герой американских детективов начала XX века (прим. ред.).

достижения, подвига (фр.).

8

Вот! (ит.)

9

Романс Лионеля «Мне явилась» («Ангел мой, вновь с тобой») из 3-го акта оперы Ф.Флотова «Марта».

10

Песня Франческо Паоло Тости «Летняя луна» (прим.ред.).